
КРУПНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР: РОМАН, ПОВЕСТЬ

Виталий Ковалев
Олеся Янгол
(г. Юрмала, Латвия)



НОЧИ ДИАНЫ*
(из книги «Побережье наших грез»)

Наши постоянные авторы.

История вторая ВИШНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ С КАПЕЛЬКОЙ ДОЖДЯ

МЫС

3. Отель

Диана укатила коляску в отель, словно угадав намерение Яны чуть-чуть побыть одной, а потом самостоятельно войти. Она чуть продрогла, пока стояла у машины, но вот, наконец, машина отъехала (водитель приветливо помахал им через стекло рукой), и Яна, поддерживаемая Дианой под руку, обходя расцветенные рекламными огнями лужи, направилась к ярко освещенному входу, обещавшему, наконец, тепло и долгожданный отдых. Да, Диана сегодня едва не переборщила с экстримом. Еще немного и ноги бы ей точно отказали, до того она устала. Хочется лечь, лежать и не шевелиться.

— Янка, посиди,— подвела ее Диана к креслам в большом холле.— Я пока все организую. Сейчас подберу классный номер.

— Лучше постою у колонны. Я потом не встану, кресла такие низкие.

— Хорошо. Я быстро,— и уже уходя, обернулась на нее, окинула взглядом с головы до ног, и одобрительно кивнула.— Ты молодец! Еще чуть-чуть и отдохнем.

Диана стоит у стойки с надписью «Reception», из притемненного бара доносится музыка, а рядом с ним, за стеклянными дверями от пола до потолка, зал с двумя столами для настольного тенниса. Парень с девушкой только что закончили игру, бросили ракетки на стол и, обнявшись, стоят у огромного, во всю стену окна и смотрят в темноту. Ни одного огонька за окном. Холл, в интерьере которого преобладает кожа и хром, переливающийся искрами от ярких огоньков, которыми усеян потолок зала, залит ярким светом, играющим на гранях белых колонн, зеркальных плитках пола, отчего кажется, что находишься ты в середине огромного кристалла.

Яна никогда не задумывалась ни об интерьерах, ни об архитектуре, но сейчас она

* Продолжение. Начало в № 4, 2018 г.— № 1—2, 2019 г. «ПЗ».

ощутила всю силу правильного дизайна. Ведь только что она валилась с ног, была совсем обессилена. Куда делась усталость в этом теплом сиянии, которое пронизывает ее и все мысли и чувства ее делает светлыми? Она наполнилась силой и радостью, и ей не хотелось больше ложиться. Хотелось увидеть что-нибудь еще. Ведь столько чудесного еще есть вокруг. Но, как странно, что чудесным этим становятся обычные вещи, которые окружают нас каждый день и на которые мы не обращаем внимания.

Дианка... Где же она?

Но Диана уже идет к ней, разглядывая какой-то буклет, а потом смотрит на Яну, улыбается и подмигивает.

— Думаю, они решили, что мы с тобой две лесбиянки,— сказала она тихо.— Та девица в красном — точно, потому как сама такая же. Но, плевать... Коляску я тут пристроила. Ее даже пристегнули в спецпомещении. Все здесь продумано. А номер-то какой у нас! Пошли скорее его посмотреть.

— Диана, а это дорого? А то ты все платишь и платишь.

— Рука дающего не оскудеет. За все мои добрые дела Бог простит мне мои прегрешения.

— Болтушка. Прегрешения у нее... Пошли посмотреть номер.

Лифт с зеркальными стенами мягко подхватил их, взметнул ввысь и, с мелодичным звоном, так же мягко остановился. Открылись двери в притемненный холл, и первое, что увидела Яна за стеклянной стеной, были темные очертания вершущих елей на фоне ночного неба, все еще хранящего едва заметный отсвет заката. Чем дальше, тем больше деревья опускались вниз, словно в глубокий провал. Какая высота! «Отель на горе, и я на вершине этого отеля»,— думала Яна. Ночь, звезды, огромные ели спускаются в пропасть... Диана. Она открывает белую дверь номера с золотыми цифрами — 333.

— Янка, смотри скорее, какое чудо! Это даже лучше, чем было у нас с Ником.

По коридору, устланному ковром, ворс которого гасил звук шагов, она вошла следом за Дианой в огромный номер, с окнами во всю стену. За стеклами угадываются столик и кресла на балконе, а большая ванная, изощренной формой напоминающая морскую раковину, и душ находятся тут же в спальне за полупрозрачной раздвижной перегородкой.

— Какая красота! — воскликнула Яна.— Здесь просто можно жить!

— Именно это мы и будем делать,— сказала Диана и, блаженно раскинув руки, упала спиной на широкую кровать.

— Ничего себе, сексодром! На этой кровати можно потеряться. Тут можно кувыркаться, прыгать, как на батуте, и делать забеги на сто метров. Янка, давай ко мне. Вот только варенье следовало бы утром поварить, но ничего, я соседку попрошу это сделать. Она знает, где ключ. Я тоже, другой раз, ее выручаю.

— Наши парни будут не особенно довольны,— сказала Яна, присаживаясь рядом с Дианой на постель.

— Думаю, Женька меня уже успел изучить. Да и Ник Женьке про меня, наверняка, уже все рассказал. Он знает, что все это мне надо. Я же так материал для книг собираю — устраиваю такие вот, хепенинги. Помнишь, я и дворником работала, и почтальоном, и маляром в строительной бригаде. Опыт бесценный!

Яна легла на постель рядом с Дианкой, так что голова ее оказалась на откинутой в сторону Дианкиной руке.

— Ну, как ты чувствуешь себя? — спросила Диана.

— Как разряженный планшет.

— Сколько процентов?

— Семь.

— Ничего, у нас номер с джакузи. Это тебя подзарядит.

— А что это за соседка?

— Соседка? — повторила Диана задумчиво.— А, рядом с нами дом. Я тоже, другой раз, ее выручала... А ты заметила, какой у нас балкон! Я уже посмотрела. А столик там какой! Прямо садись и пиши какой-нибудь «Тропик Рака». Эх, когда-нибудь я напишу такую книгу. Всю правду о жизни скажу. И пусть на меня не обижаются. Выложу читателю жизнь, как она есть. Шлепну ее перед ним, как кусок мяса на прилавок, так что брызги во все стороны полетят.

— Ты это можешь!

— Да. Но пока я к такой книге не готова. Мне еще надо подрасти.

— Уверена, что о тебе еще узнают. И придет время, когда книги твои будут издавать.

— Не скоро это время придет, Янка. Мы сейчас в таком средневековье. Сначала, чувствую, будут большие потрясения. Да и после них, если человечество выживет, тоже долго будет не до чтения.

— Ты какие-то ужасы рисуешь.

— Не только я. Ты, вот, хотела бы, чтобы люди жили в мире?

— Конечно.

— Вот! А Достоевский сказал, что для того, чтобы люди жили в мире, для этого они сначала должны хорошенько друг дружку выпороть.

— Да...

— Это не я. Это Достоевский. А он был пророком. Но... Ладно... Выбрось из головы. Я у тебя дурочка и болтаю всякую ерунду. Не надо меня слишком серьезно воспринимать. Часто то, что я говорю, это у меня так — упражнение для рта. Мы счастливы. И давай это осознавать.

Одна из стеклянных дверей на балкон открыта. Слышен легкий шум елей, доносится аромат хвои.

— Даже если такое и ждет нас впереди, не хочется об этом думать.

— Все будет хорошо.

— Ты просто пиши хорошие книги, а что будет дальше, решит судьба. Есть высшие силы, и они нам помогают.

— Знаешь, когда Генри Миллер закончил свой роман «Тропик Рака», он пришел к Джун, своей... возлюбленной, бухнул на стол толстую кипу исписанных листов и сказал: «Я закончил свою книгу! Но ее никогда не издадут». Вот слова настоящего писателя! Главное — реализовать то, для чего ты появился в этом мире.

— Я тоже иногда думаю, зачем я появилась в мире. Но бесполезно об этом думать. Появилась и слава Богу. Наконец, мы вместе и это главное.

Яна повернулась к Диане и обняла ее.

— Знаешь, Дианка, часто, когда ты что-то рассказываешь...

— Да, и что тогда?

— Чувствуется, что тебя воспитывал отец, а не мама.

Дианка повернулась к Яне, посмотрела ей в глаза и, протянув руку к ее лицу, погладила по щеке.

— Ты ничего не сказала,— улыбнулась Яна.— Спасибо!

— Тебе было несравнимо тяжелее,— сказала Диана, откинув волосы со лба Яны и поглаживая их.

— Я росла, в основном, с мальчишками. Почему-то в интернате их было гораздо больше. Из-за того, что я с ними росла, говорила с ними на те темы, которые им интересны, а главное, выслушивала их страхи, проблемы, обиды, мне казалось, что я не только девочка, но и немного мальчик. Однажды, был у нас такой — Лешка, так вот, в порыве какого-то чувства, он положил мне руку на плечо и сказал: «Хороший ты, Янка, парень!» Он это сказал, а я в тот момент ничего странного в его словах не увидела. Мне даже приятно стало, что я «хороший парень».

— И все равно, мы с тобой самые классные. Спроси хоть Ника, хоть Женьку. И, главное, понимаем мужчин.

— Ну, кто первый в душ? — спросила Яна, пытаясь подняться, но Диана, быстро встав, помогла ей.

— Давай я быстренько. А ты пока посмотри балкон. Только не упади там.

Диана разделась, укладывая одежду на спинку кресла. Совершенно голая она пошла к ванной, включила в душевой голубоватую подсветку, которая шла прямо из пола, и встала под струи воды. Они тоже были голубыми. Яна видит Диану за полупрозрачным стеклом. Почему-то сейчас, когда размыты черты ее тела стекающей по стеклу водой, кажется, что Диане лет пятнадцать. Небольшая, стройная, изящная... Вода стекает по ее телу и рассыпается у ног блестками сверкающих хрусталиков.

— Попа у меня совсем не загорела,— послышался голос Дианы и несколько звонких шлепков.— Где бы найти необитаемый островок, чтобы позагорать голышом?

— А здесь что, таких мест нет?

— Я не нудистка. Я очень скромная девушка,— слышится голос Дианы сквозь шум воды.

— С незнакомыми мужчинами не разговариваешь?

— Да. С незнакомыми мужчинами в постели не разговариваю.

— Ох, Дианка, дождешься, что Ник тебя по твоей белой попе отшлепает.

— Ха!.. Он только это и делает.

Дианка показала из душа, закутанная в махровое полотенце. Темные волосы расстепаны, глаза весело поблескивают. Капельки воды блестят на ресницах.

— Давай, Янка. Твоя очередь. Я ванну наполнила и все наладила. Сейчас у тебя будет подводный массаж.

— Я еще не посмотрела балкон,— говорит Яна и делает несколько шагов к раскрытой двери.

Она шагает в звездную тьму, раскинувшуюся перед ней. Кажется, протяни руку и коснешься звезд. Яна делает еще один шаг в темноту, и вдруг чувствует сильный удар по лицу, груди, коленям... Она вскрикивает и, не понимая, что происходит, со странным равнодушием осознавая, что сразу же сдается тому неминуемому, что с ней происходит, почувствовала, что падает, но руки Дианы ее уже подхватили и крепко держат, прижимая к чуть влажному, горячему телу.

— Янка, ты что, не видишь, что здесь стекло! — хохочет Диана у самого ее уха.

— Стекло?..

— Да. Сейчас ведь такие делают, что их и не видно. Но обычно на них яркие полоски наклеивают.

Яна пришла в себя и тут уже обе они расхохотались.

— Боже, как это нелепо! — хохочет Янка.— Такого со мной еще не было. Ты посмотри, его же совсем не видно. Оно даже не блестит.

— Я и сама однажды о такое стекло грохнулась. Им, конечно, следовало бы что-то наклеивать. Ведь и вправду, его не видно.

— Только не рассказывай Жене. А то я как дурочка буду выглядеть.

— Ну вот, а еще считаешь, что понимаешь мужчин. А они ведь как раз любят, чтобы женщина была немножечко... женщиной. И несла бы порой, как выразился Пушкин,— «прелестный вздор».

Яна проводит рукой по стеклу, находит ручку и отодвигает вбок стеклянную дверь. Ночь пахнула в лицо густым ароматом леса. Совсем темно, ничего не видно за перилами балкона. Но также, как она чувствовала море, не видя его, так она теперь чувствует и высоту.

На балконе стоят кованный столик и три кресла из такого же темного, кованого

металла. Подушки на сидениях кресел из плетенки, которая не боится влаги и быстро сохнет. Толстая полированная столешница украшена инкрустацией из янтаря.

— Ну, что, классно там посидеть, закутавшись в пледик? — спрашивает Диана из комнаты, разбирая постель.

Яна ничего не отвечает, она смотрит во тьму и вдыхает ночной воздух. Далеко у горизонта небо едва заметно озарено легким сиянием. Наверное, там городок. «Я понятия не имею ни об одном из тех людей, что там живут. Случись сейчас что-нибудь с кем-то из них, исчезни он с лица земли, я ничего не почувствую и знать об этом не буду. Точно также и до меня этим людям нет никакого дела. Есть я, нет меня, ничто от этого не изменится в мире».

— Что ты говоришь? — спрашивает Диана.

Яна оглядывается и видит Диану за окном, за полупрозрачной розовой шторой.

— Я ничего не сказала, — говорит она. — Просто думаю.

— А... Если что-нибудь интересное придумаешь, скажи. Мне сейчас нужны свежие идеи. Пора начинать новую книгу. А ты у меня мастер по идеям.

— Знаешь, о чем я подумала, — придерживаясь руками за оба стекла, Яна с трудом вошла в комнату. — Я хочу понять одну вещь. Ты должна мне раскрыть секрет.

— Какой? У меня от тебя секретов нет.

— Понимаешь, мы с Женей довольно много путешествуем, — начала Яна, снимая майку и расстегивая джинсы. — Мы ездили в автобусах, на пароме, отдыхали на море, жили в отелях... Во Франкфурт однажды на машине ехали точно по такой же ночной дороге, как сегодня.

— И что?

— А то, что хотя я и была по-настоящему счастлива в наших с ним путешествиях, я все же не чувствовала того, что почувствовала сегодня с тобой. Я не могу этого понять. Тут какая-то тайна.

— Я тебя не понимаю, — сказала Диана, откидывая одеяло и садясь на кровать. — Но я рада, что тебе было хорошо сегодня. Мы же столько лет мечтали быть вместе. И все сбылось. А когда мечта сбывается, человеку все кажется особенным.

— И никакой тайны нет?

Яна сидит на кровати и смотрит в темные глаза Дианы. Они так похожи на ночь за окном. Тихую, звездную ночь...

— Знаешь, — Диана чуть задумалась, глядя на Яну с легкой улыбкой, — все, что сегодня было, очень похоже на то, что происходило в одном романе.

— Каком?

Яна села на кровать и сняла джинсы.

— Нет, пока не скажу.

— Кто автор?

— Потом скажу, — улыбнулась Диана.

— Ну хотя бы, из какой он страны?

— Американец.

— Американец? — удивилась Яна.

— Да.

— И что, книга известная?

— Очень известная. Не думаю, что есть люди, которые не слышали о ней. Я не имею в виду, конечно, туземные племена.

— Заинтриговала!

— Да, появилась интрига, — усмехнулась Диана. — Мне это нравится. Я за интригу и в жизни, и в литературе.

— У меня уже есть версия. Это, случайно, не роман Керуака «На дороге»?

— Нет. Хотя мы с тобой и «на дороге», но у нас совсем другая история. Подумай, может и догадаешься, — улыбнулась Диана.

Яна встала и, ступая по мягкому паласу, осторожно пошла к ванне. Диана быстро поднялась с постели.

— Давай помогу тебе. Подожди...

— Ладно,— сказала Яна.— Есть у меня еще версия. Потом проверим. Ты же мне, в конце концов, скажешь.

— Конечно. У меня от тебя нет тайн.

В полутемной комнате ванна светится перламутровым сиянием. Вблизи она еще больше похожа на гигантскую раковину с волнистыми, золотыми краями. Голубоватая вода играет пузырьками, поверхность чуть колышется, волнуемая подводными струями. А по потолку и стенам скользят отсветы, отчего Яне кажется, что вокруг нее падает снег.

— Придумаешь же ты, Дианка!.. Джакузи!.. Я спокойно бы помылась в душе.

Диана помогает Яне поднять ногу и лечь в ванну, зачерпывает воду ладонью и окатывает ею плечи Яны: — Закрой глаза и представь, что лежишь ты в теплых струях океанского прибоя. У самых твоих ног дно уходит вниз, в темную бездну океанских глубин, в которую цветным водопадом низвергаются мириады разноцветных рыб. Там, среди вечного безмолвия и покоя, на фоне темных Левиафанов, колышутся водоросли, скрывающие за собой поросшие подводными цветами мачты и остовы затонувших кораблей, чьи борта засыпаны не только песком, но и золотыми дукатами, дублонами и солидами. Все богатства мира, которыми наполнены амфоры и сундуки, золотые чаши и ларцы, все то, что на земле было олицетворением власти и славы, здесь просто красивое сияние, ничем не отличающееся от сияния быстрых рыб, плавных медуз и роскошных кораллов...

Яна лежит в воде, слегка прикрыв глаза, и слушает тихий голос Дианы.

— Это из какой же книги? — спрашивает она.

— Это из великой «Библиотеки ненаписанных книг».

И еще раз плеснув водой на плечи Яны, встает и идет к балконной двери, прикрывает ее и, скинув махровое полотенце, ложится в постель.

Из сумочки, лежащей на паласе у кровати, она достает книгу в мягкой обложке и включает ночник.

— Тебе хорошо? — спрашивает Диана.

— Как в Раю... Как на берегу океана...— и чуть помолчав,— «Библиотека ненаписанных книг». Что-то в этом есть?

— Немного в духе Борхеса,— заметила Диана.— Хотя... Может выглядеть так — главный герой оказывается в лабиринте, стены которого сплошь уставлены книгами в почерневших кожаных переплетах, украшенных золотом, сияние которого наполняет лабиринт гипнотическим светом.

— Да,— говорит Яна,— и это не просто книги, которые не открывали столетия и даже тысячелетия. Это книги... которые не открывались никогда.

— Больше!.. Эти книги никогда не будут открыты. И знаешь, что это за книги? Это величайшие шедевры мировой литературы, которые не были написаны либо потому, что творцы их погибли в детстве, либо вообще не были рождены, потому что погибли их родители. Не появившиеся в мире творения всех гениев, всех времен и народов заполняют стены, потолок и пол этого нескончаемого лабиринта. Те шедевры, которые нам известны,— жалкие, ничтожные крохи того, что могло бы быть, не будь люди... людьми... Как это горько ни звучит. Да, корешки книг устилают даже потолок и не падают, потому что не существует земного притяжения для того, чего нет в мире. На то, чего нет, не действуют никакие законы бытия. Любая книга в «Библиотеке ненаписанных книг» равна, а порой и превосходит творения Сервантеса, Шекспира, Гоголя, Достоевского, книги которого тоже могли бы здесь быть, если бы был расстрелян, а не отправлен на каторгу. «Братья Карамазовы», «Бесы», «Преступление и наказание» стояли бы сейчас на этих полках. Чудо, что их здесь не оказалось!

— Но зато,— продолжила Яна, чувствуя, как ласково массируют струи воды ее тело,— на этих полках стоит восьмидесятитомное собрание сочинений старца Михаила Лермонтова, которое он так и не написал.

— Ты, кстати, знаешь, Янка, он приступал к написанию многотомной эпопеи, события которой охватывали бы столетия Российской жизни. Если бы не его смерть, то в мире бы явился роман-эпопея задолго до «Войны и мира» Толстого. И кто знает, может, его роман был бы и помощнее Толстовского.

— А может, лучше звучало бы — «Лабиринт ненаписанных книг».

— Это лучше,— согласилась Диана и, закрыв свою книгу, положила ее на кровать.— Обо всем этом стоит подумать. Ведь в этом лабиринте я могу брать книгу за книгой, открывать наугад и... читать.

— Да, Диана, тут-то и начнется самое сложное. Текст, который ты увидишь, а вместе с тобой и читатель, должен быть гениальным.

— Да... Как думаешь, Янка, можно за год написать полстраницы гениального текста?

— Вряд ли.

— Ну, а фразу? Одно маленькое, гениальное предложение?

— Думаю, что нет. И тут не во времени дело. Вон, мы уже в двадцать первом веке живем. Где Шекспир, Бальзаки или Толстые? Да и в двадцатом веке подобных им не было.

— Вот,— вздохнула Диана,— вот они — мировые войны, революции и прочее. Постарались политики — творцы «Лабиринта ненаписанных книг». В общем, буду думать над этой идеей. Что-то в этом есть.

— Да... И про Борхеса не думай. Пиши по-своему...

— Эх, прямо хоть бери и начинай писать!.. Самое муторное, это технический момент, вот это — клацанье клавишами. Сделали бы такую программу, что ты говоришь, а компьютер сам набирает текст в Ворде. Как тебе идея! Я бы продала ее японцам.

— Дианка, ты как была маленькой, такой и осталась.

— Э, Янка, если бы я все свои идеи продала японцам, то мы катались бы сейчас, как сыр в масле, жили бы в самом высоком пентхаусе и любовались бы сверху ночным Токио.

— Дианка, мне здесь нравится гораздо больше.

— Мне тоже. Это я шучу. Ты же меня знаешь...

— Конечно, я тебя знаю. А пока помоги мне, а то я так расслабилась, что боюсь повернуться. Я сегодня так устала!.. Столько всяких впечатлений было!

Диана помогла Яне выбраться из ванной, вытереться, и теперь она сидит на постели и расчесывает волосы Дианкиным гребнем. Яна посмотрела через него на свет ночника, он полупрозрачный, словно отлитый из янтаря или застывшего меда.

— Меня завораживают красивые вещи,— говорит она.— Прямо гипнотизируют.

— Я такая же. Когда была маленькая, папа дал мне свои старые механические часы. Я сняла корпус и обомлела. Механизм был сияющий, золотистый. Я как загипнотизированная ворона смотрела на него и погружалась в гипнотический транс.

— А нас однажды повезли на экскурсию за город,— Яна взбила подушку и легла под одеяло рядом с Дианой, та придвинулась к ней и прижалась щекой к ее плечу,— и вот, слушай, Дианка, сказочку, слушай... И вот на берегу реки я нашла кусок стекла, но не от бутылки, а это была такая, застывшая, граненая масса, по форме похожая на грушу.

— Может, природное что-то, древнее, вулканическое?

— Не знаю. Этот кусок стекла мне очень понравился и стал моим талисманом на долгие годы. Стекло было голубое, как небо... Как вода в этом джакузи...

— И талисман помогал тебе?

— Думаю, да. Я верила в это. Сейчас, если подумать, странно! Почему я решила, что он может мне помочь?

— Наверное, Янка, нам всем хочется, чтобы было что-то такое, что могло бы нас беречь.

— Да, тонущий хватается за соломинку. А я схватилась за кусок стекла. И он мне помогал.

— Куда он делся?

— Не знаю. Может, украл кто.

— Ну, как ты? Замучила я тебя сегодня.

— Мне хорошо было сегодня...

— Расскажи еще что-нибудь.

— О чем?

— Про маленькую Янку.

— Про маленькую Янку — это совсем неинтересно.

— Мне интересно все. Мы столько лет жили врозь и не знали друг о друге. Когда ты расскажешь мне о себе все-все, мне будет казаться, что я знала тебя всю жизнь. Первое попавшееся расскажи. Любог пустяк, какой вспомнишь. Мне это интересно.

— Надо подумать.

— Давай я выключу свет. Так тебе будет удобнее вспомнить какой-нибудь важнейший пустяк.

Как только Диана выключила свет, в окнах стали видны неподвижные ветви елей и редкие искорки звезд. Далекий самолет, тоже, как еще одна звезда, мигает во тьме, плывет в небе.

— Диана, шепчет Яна, — как красиво! Я никогда не засыпала среди елей. Теперь я поняла, почему такие стекла делают. Чтобы казалось, что нет ни стекол, ни стен, и ты паришь в высоте, среди деревьев, а над тобой кружится звездное небо... Ты меня привезла именно в такое место, в котором я всегда мечтала оказаться.

— Ну, давай, рассказывай, только подожди, я плечико твое взобью, чтобы помягче было, — и Диана, привстав, сделала вид, что взбивает плечо Яны, словно подушку перед сном, после чего снова кладет на него голову, блаженно причмокивая губами. — Давай... Рассказывай.

— Хорошо.

— Может, мне диктофон включить?

— Лежи, непоседа, и просто слушай... Так вот... Самое интересное в моей жизни начиналось, когда меня отправляли в санаторий в Калининградскую область. Не помню, как городок назывался, но было это у моря, жили мы в двухэтажных коттеджах в немецком стиле, а море было прямо за деревьями. Когда я подходила совсем близко к забору, то видела море за стволами деревьев. Было мне тогда лет шесть. И, кроме нескольких девочек из нашего интерната, были дети из других интернатов, которых я совсем не знала. Знакомство с каждым из таких детей было, порой, целым приключением.

Однажды утром, после завтрака, я пошла по дорожкам между коттеджами и вышла к поляне на краю нашей территории. Здесь начинался кустарник и был он до того густой и высокий, что казался мне настоящими джунглями. Никто меня не беспокоил. Посередине поляны рос дуб, и я наблюдала за белкой, которая, шурша коготками по коре, спускалась вниз по стволу, находила что-нибудь в траве и быстро взлетала по стволу вверх. Я терпеливо ждала, когда белка снова спустится на поляну.

И тут появился мальчишка. Я его не знала и почему-то сразу обратила внимание на его сандалии — синие, довольно таки потрепанные. Подошел он ко мне, загорелый, на носу конопушки, стриженный коротко, только на макушке светлый вихор. Ух, драть за него хорошо, подумала я.

Шмыгнул он носом и говорит:

— Девочка, тебя как звать?

— Яна, — отвечаю я.

— А ты долго тут будешь сидеть?

Я удивилась.

— Долго, — говорю.

— Слушай, — говорит, — тут сейчас мой брат подойдет. Мы на этой поляне договорились встретиться. Скажи ему, чтобы подождал меня. Я быстро по делу смотаюсь и приду. Скажешь?

— Конечно, скажу, — ответила я.

— О, классно! — сказал он. — Я быстро... Пусть ждет меня...

И скрылся за кустарником. Я сижу себе дальше, за белкой наблюдаю, как она желуди куда-то к себе на верхотуру таскает.

Прошло несколько минут и появляется мальчишка. Тот же самый, который только что был, только в другой майке.

— Эй, девочка, — говорит. — Как тебя звать?

— Янка.

— Ты брата моего не видела? Он на меня очень похож. Мы с ним близнецы.

Я так незаметно глазками вниз — шмыг, глянула на его сандалии и вижу, что сандалии те же самые. Каждая царапинка на них та же самая. Посмотрела на его лицо, и конопушки на носу те же самые. Сразу же поняла, что это тот же самый мальчишка, только дурачит меня зачем-то.

— Да, говорю, — твой брат тут был, просил, чтобы ты подождал его. Он сейчас придет.

Говорю это, а сама стараюсь не улыбаться. Мальчишка потоптался немного, носом пошмыгал, точно так же, как тот — «первый», и говорит:

— Некогда мне ждать. Если он придет, скажи, что я на футбольное поле пошел.

— Хорошо, скажу.

И убежал за кусты. Ну, я сразу поняла, что сейчас он снова придет. И точно, появился. Майку сменил на прежнюю. Вот, думаю, артист растет.

— Ну что, Янка, приходил мой брат?

— Приходил.

— А где он?

Так и хотелось мне пальцем на него самого показать и сказать: «Вот он», но не сделала это.

— Ушел, — говорю. — На футбольное поле.

— Что же ты не задержала его! — досадливо всплеснул он руками. — Эх!.. Ладно, поищу его там.

Направился снова к кустам, но вдруг оборачивается и говорит:

— Слушай, а ты попугая тут не видела? Ребята говорят, что тут попугая видели. Улетел, наверное, от кого-то. Или из зоомагазина. Здоровый такой!..

Вот, думаю, врун несчастный!

— Нет, попугая я не видела, — говорю, а сама уже злиться начинаю.

— Если увидишь попугая, дай нам знать. Мы с братом на футбольном поле будем.

— Конечно, конечно, — киваю я головой. — Сразу же скажу.

Ушел этот врунишка. Я думала он снова появится, но, видно, надоело ему играть в эту игру. Посидела я еще, поскучала... Белка тоже куда-то ускакала. Скучно стало.

И тут появляется на дорожке девочка из моего корпуса. Она была не из нашего интерната, но так как кровати наши были рядом и обедали мы часто за одним столом, то мы с ней уже познакомились. Была она очень маленькая, звали ее Соня. Стоит на дорожке, ножки тоненькие, ручки тоненькие, волосики на голове тоже тонюха-

тенькие. Такая шапочка волос до ушек. Ветер их колышет во все стороны. Я их раз потрогала рукой, так даже не почувствовала. Очень она худенькая. Просто соломинка какая-то. А глазищи огромные. Подходит ко мне, и явно что-то сказать хочет.

— Давай, Янка, что-нибудь делать,— говорит она мне.

— Давай. А что ты хочешь делать?

— Давай грибы искать.

— Соня, грибов еще нет. Они будут осенью.

— А что же нам тогда искать? — спрашивает.

— А зачем нам что-то искать,— говорю я,— Давай лучше посмотрим, как белка желуди собирает. Это она к зиме готовится.

— А где белка? — оглядывается вокруг Соня.

— Сидит в своем домике. Скоро придет.

— А где у нее домик?

— Вот, на этом дубе,— показываю я рукой.— Там есть большое дупло, а в дупле этом чего только нет! Тут и желуди, и ягоды всякие, и корешки. А осенью белка еще и грибов натаскает.

— А мама у нее есть? — интересуется Соня.

— Так белка — сама мама. У нее детки есть.

— Это она деткам своим все носит? — заинтересовалась Соня.

— Конечно,— говорю,— она любит своих деток.

— А кого из них она любит больше всех?

— Всех любит. Одну детку любит за то, что она самая быстрая. Другую за то, что самая послушная. А третью... — задумалась я.

— За то, что любит она всех своих братиков и сестричек,— говорит Соня.— У белки очень много деток.

Она стоит рядом со мной, моргает и иногда так расширяет свои глаза, как будто увидела что-то страшное. Я однажды спросила у знакомых девочек, почему она так делает, и они (им нянечка сказала) открыли мне, что это у нее от нервов.

— Почему ты глазами так делаешь? — спрашиваю я Соню.

— Не знаю. Хочется почему-то так делать,— и тут предлагает.— А давай играть в «Мама идет».

— Ой, нет! Я сейчас не хочу играть в это,— говорю я.

Мне и правда не хочется играть в Сонину игру потому, что знаю, Соня в конце игры расстроится и будет плакать. Удивлялась я тогда, откуда у нее столько слез беретя!.. Иногда ночью просыпаемся и видим — Соня стоит на постели и плачет. Значит, что-то ей приснилось. Я тогда звала Соню к себе в кровать и со мной она успокаивалась. Она была до того маленькая и худенькая, что даже не чувствовалось, что в кровати появился кто-то еще. Иногда ночью я проверяла рукой, тут ли она. Не упала ли на пол. Так иногда бывало.

И вот, стоит она передо мной, в глазенках уже влага копится. Сейчас хлынет ручьями.

— Ладно, давай играть,— говорю я, потому что знаю, очень уж ей хочется.

Соня любила эту игру и, думаю, она в нее не играла, а действительно, какие-то мгновения, верила, что все это происходит по-настоящему. Эти несколько мгновений делали ее счастливой.

— Играем,— говорю я ей.

Соня садится на траву, потому что так, обычно, она начинала играть, расправляет платице на коленках, и поправляет на головке волосики, чтобы быть красивее. Она срывает несколько цветков и начинает их сплетать. Теперь она ждет, когда я заговорю.

— О!.. — изумленно восклицаю вдруг я,— Соня, твоя мама приехала!

— Где? — радостно оборачивается Соня и быстро встает на ножки.

Я вижу, как по ноге ее ползет муравей, из тех — красных, что кусочие, но не успеваю ей сказать.

— Где, где она!? Где!? — радостно подпрыгивает Соня.

— Только что была на той дорожке. За наш корпус зашла.

— А ты точно ее видела?

— Ну, конечно. Она сейчас придет. Наверное, она воспитательницу встретила.

— Или доктора.

— Да... Или доктора. Сейчас они поговорят и она придет.

— А про что они говорят? — интересуется Соня.

— Разве ты не знаешь, мамы всегда спрашивают у докторов — как их ребенок? Не болеет ли он?.. Хорошо ли себя чувствует?..

— Я хорошо себя чувствую,— говорит Соня и тут же расширяет свои глаза.

Мне показалось, что надо уже заканчивать.

— Да,— соглашается Соня.— Моя мама говорит про меня с доктором.

— И она что-то вкусное тебе принесла,— продолжаю я, забыв, что хотела заканчивать игру.

— Что? — шепчет Соня, облизнув губы.

— Большую банку клубники с сахаром.

— Я клубнику съем,— говорит Соня,— потому что мне ее мама принесла, а сок могу дать тебе.

— Спасибо! Я очень люблю клубничный сок.

— И где она? — нетерпеливо спрашивает Соня.

— Сейчас... Сейчас она выйдет из-за корпуса... Вон, на ту дорожку...

Мы с Соней смотрим на куст сирени в конце дорожки, потому что если кто и появится, то именно из-за этого куста. Мы замерли, смотрим во все глаза, и я гадаю, кто же появится? И то, что мы увидели, поразило нас с Соней. Из-за куста сирени, важно вышагивая по дорожке, вышел большой попугай! Я смотрела на него и не верила своим глазам. Я поморгала и даже расширила глаза, как это делает Соня, но попугай не пропал, а в раскачку продолжал идти по дорожке. Потом вдруг захлопал крыльями и, пролетев низко над травой, скрылся в кустарнике.

Соня посмотрела на меня. В ее глазах был восторг. Она забыла уже о нашей игре, забыла о своей маме и банке с клубникой.

— Яна,— здесь водятся попугаи! — пробормотала она восторженно.— Это был попугай?

— Конечно,— сказала я как можно небрежнее.— Это обычный, здешний попугай. Здесь их полно. Особенно в тех джунглях у забора.

— А это джунгли? — опасливо посмотрела на кусты Соня.— Я про джунгли смотрела мультик. Давай уже пойдем отсюда...

Мы пошли, время от времени оглядываясь на опасные джунгли.

Удивительно получилось с попугаем. Оказалось, что мальчишка не врал. И тут я подумала, а может, их действительно двое? И конопушки на носках у них одинаковые... И разбитые сандалии... И носами они шмыгают одинаково...

Яна перестала рассказывать, посмотрела на пригревшуюся рядом с ней Диану и увидела, что та спит. «Интересно, на каком месте она заснула»,— подумала Яна. Осторожно, чтобы не разбудить Диану, она повернула голову к окну, лежала, смотрела в темноту и не заметила, как закрыла глаза, продолжая видеть и темные ели, звезды и мигающий огоньками далекий самолет...

(Продолжение следует)



Борис Рябухин
(г. Москва)

ПОЛЫЕ ВОДЫ*
роман

Наш постоянный автор.



Глава третья
ДОЧЬ ВРАГА НАРОДА

В рабфак Полина ходила два года. Училась очень хорошо и добросовестно. Литературу любила, много читала, но русский язык ей не давался, особенно орфография.

Когда Полина закончила с отличием педрабфак, ее вместе с Мусей Серовой сразу перевели в педагогический институт. Они сдавали один экзамен: как выпускной из рабфака, и как вступительный в институт.

Таким образом, в 1935 году Полина поступила в Астраханский пединститут на четырехгодичное отделение. Ее зачислили на физико-математический факультет по рекомендации преподавателя математики. Эту очень статную и знающую материал учительницу рабфаковцы называли — «метр», за ее маленький рост. Математичка ей сказала: «Я порекомендовала вас на математический факультет». А она до этого искала себя в списках о приеме на биологический факультет. Подруге Мусе помог поступить на этот же математический факультет ее богатый отец.

В институте Полина стала хорошо учиться, получала одни пятерки, и ей дали повышенную стипендию 65 рублей. Она отдавала деньги матери, а также всю хлебную карточку — для своей большой семьи. Как студентка Полина получала карточку на 500 грамм хлеба.

Только вот дела в доме Аксины стали невыносимыми. Да еще Елизавета привезла сына Ленку, двух лет, а сама опять уехала на Кавказ. Аксины не поднять одной этот груз. Жить семье нечем. И Полина боялась, что четыре года она не сможет учиться. Она окончила только первый курс пединститута, а впереди еще три курса. Как раз в то время в Астраханском пединституте открыли двухгодичный факультет. Стране не хватало учителей. Поэтому пошли на такие краткосрочные меры. И Полина, видя, что Аксины одной всех не прокормить, тайком от нее перевелась на укороченный — двухгодичный факультет пединститута, который заканчивался в 1938 году. Аксины, когда узнала, даже руками всплеснула, так расстроилась, что четырехгодичный институт Полина бросила. Поплакали от такого горя вместе. Но дочь дала слово, что обязательно закончит четырехгодичный пединститут заочно. Только один год у нее пропал.

Так Полина с подругой Мусей стала учиться на двухгодичном факультете пединститута, на физико-математическом отделении.

Надо сказать, что ее отец, Алексей Тимофеевич, помог Аксины и всей семье тем,

* Продолжение, начало в № 2, 2019 г.

что построил для семьи большой дом. И полдома можно было сдавать. И Аксинья стала пускать к себе квартирантов — «куряжников» с Кавказа. Астраханцы их называли «ялдышами» (торгашами). Базар Большие Исады был недалеко от дома — только перейти через Ямгурчевский мост, и квартирантов это устраивало.

Полина как-то спросила ялдышей:

— Почему вы все говорите не на своем, а на русском языке?

Они сначала стеснялись, не отвечали, потупив голову. Лишь одна женщина, побойчей, сказала:

— У нас что ни аул — то разный язык. Мы не знаем его. А русскому учимся, так как нужно торговать.

Торгаши приезжали с женами. Только их жены и носили полные мешки с фруктами на горбу, а мужья важно шли впереди налегке. Эти квартиранты платили, хоть мало, но исправно. Они были страшно вшивые, особенно женщины. Видимо, не мылись. Носили черные штаны и черные платки в астраханскую жару.

У Аксиньи в доме была чистота и порядок. А теперь вши поползли строем по двери, отделяющей одну половину дома от другой — квартирантской.

Один ялдаш засмеялся, когда Полина показала ему на эту вереницу вшей на двери, и сказал:

— Он меня кусал, и я его кусал.

Мужчины выбрасывали всю ношеную одежду с себя в мусорный ящик, и надевали новое белье, из магазина. Не жалели выбрасывать, денег полно выручали на базаре за свои фрукты.

А деньги не пахнут. Пахли душисто, заманчиво, до слюнок во рту, только кавказские яблоки и груши, которые брать хозяйским детям строго не разрешалось.

Ялдыши были скупые, ничего не давали. И себе-то ничего не готовили, кроме хинкал. Их варили в котле на керосинке. Женщины развяжут платочек, достанут горсть-другую кукурузной муки, скатают из нее комки теста — и бросят в кипяток с куском мяса. Вот и обед готов. А свежее, да с базара-то, мясо так вкусно пахнет во всем доме! И спали квартиранты, не раздеваясь, на своих мешках на полу. Благо, в Астрахани все лето жарко.

Боря, став заниматься творчеством, по воспоминаниям о ялдышах, написал стихотворение «Пятая стена». Ведь дедушкин дом был «пятистенкой».

ПЯТАЯ СТЕНА

*Пускала бабка на постой
Приезжих торгошей.
Чесочно-войлочный настой
Нам стоил горсть грошей.*

*Набит мешками был сарай —
Орехов, яблок, груш.
Но не для нас был этот рай —
Голодных детских душ.*

*Хинкалы нежились в жиру.
И сок стекал вдоль шей.
Я был за дверью на пиру,
Давил их грязных вшей.*

*Галдят, поют, и все жуют —
А я в сенях притих.
Не знаю, они ль у нас живут,
Живу ли я у них?..*

Затем половину дома снимал квартирант — персиянин Юсуп. С ним связаны у Полины свои испытания судьбы. Кстати, он хорошо помогал Аксинье. Он торговал на Больших Исадах всякими восточными пряностями, кишмишом, курагой... Даже пару раз шоколад куском давал Аксинье, и она поила детей горячим шоколадом. Видимо, Юсуп занимался контрабандой. Поэтому были у него и дорогие вещи.

Глядя на страшного Юсупа, Полина вспоминала, как приезжал к ним в гости красивый татарский хан Малик. Такой белый, полный, холеный. Он привез маленькой Поле много подарков и восточных сладостей. Разговаривал с ней и улыбался. А матери ее Аксинье сказал:

— Эти подарки — только Поле.— И уехал.

И другим сестрам ничего из татарских подарков не дали.

Услышав это, Поля сложила все сладости в подол нового платица, которое привез татарский хан, и унесла в свой укромный уголок за печкой.

Юсуп жил шесть лет квартирантом у Аксиньи. Сначала во второй половине дома на Пушкинской улице, потом на Огаревой улице много лет. Фактически Полина выросла у него на глазах.

Когда Полине исполнилось восемнадцать лет, старый Юсуп, видимо, наметил ее себе в жены. Ничем не выдавал этого, а старался задарить. Давал носить золотое кольцо, золотые часы. Но Аксинья отняла их и отдала Юсупу. Строго сказала ему:

— Не балуй!

А Полине хотелось пофорсить перед девчонками. Они спрашивали:

— Полина, где ты берешь эти дорогие вещи?

А она хвалилась:

— Мне их подарили.

Юсуп начал потом и дарить Поле всякие вещи. То чулки красивые подарит, то еще чего-нибудь. А однажды даже подарил ей кольцо с бриллиантами. На нем было три бриллиантика на одной веточке, и три — на другой. И тихо сказал ей: «Носи, но не теряй. Кольцо дорогое».

Однажды к Юсупу приходил мулла. Они тихо разговаривали в спальне за закрытой дверью. Сестра Настя, еще маленькая, следила за ними исподтишка. И сказала Полине: «Не бери вещи у Юсупа. Он колдует. Был у него мулла и что-то над часами шептал».

В это время Полину стал сватать «молниеносный вычислитель» Шишкин. Он приехал на гастроли в Астрахань. Ему было 36 лет, а Поле 18 лет. Он имел чудесную память. Мог в уме быстро умножать и делить многозначные цифры. И выступал в Астрахани на концертах со своими математическими фокусами. Видимо, получал за это большие деньги.

Юсуп ревновал Полю к этому Шишкину, когда она, с разрешения матери, уходила погулять с Шишкиным. И даже поссорился однажды с хозяйкой Аксиньей, прикрикнув на нее: «Что, вы ее продать за деньги хотите?» А сам уже посматривал на Полину, когда она в двухгодичном институте училась.

Но Шишкин уехал из Астрахани, и вопрос о сватовстве отпал сам собой.

Торгашей в Астрахани местные власти стали прижимать. И Юсуп решил готовить на продажу сдобные «витые» — колбаски из теста, которые жарили в кипящем

постном масле. Его мастерской была старая баня, которая долго стояла брошенная, не работала.

Юсуп предложил Аксинье торговать этими «витыми» на базаре Большие Исады. Полина, после учебы, носила эти витые Аксинье из мастерской Юсупа на базар в корзинах на коромысле. Жить стало сытнее.

Однажды было очень жарко, Полина отнесла очередную партию витых матери и пришла в мастерскую за второй корзиной. Видит, на столе стоит кружка. Она выплеснула из нее осадок — и персиянин от неожиданности даже ахнул. Полина испугалась, и спросила: «Что, нельзя?» Молчание. Зачерпнула из ведра воды, напилась, и понесла на базар вторую партию «витых». Но в душе остался неприятный осадок — почему Юсуп ахнул?

А Юсуп на второй день, когда пришел с базара, потихоньку сунул Полине письмо в руку и сказал: «Мама не говори».

Что было в письме? «Поля, я тебя люблю. И давай я и ты уедем в Персию. Выходи за меня замуж». Письмо было неграмотное. Но в нем были теплые слова о том, что он знает ее с детства и давно полюбил. Девчонка, конечно, испугалась, а как мать Аксинья без нее с ребятами будет жить? Ведь работников нет, а в доме — шесть едоков. Да Юсуп ей и не нравился, она его боялась. Полина все рассказала своей матери, прочитала ей письмо, потому что та была полуграмотной, и отдала. Аксинья очень удивилась, задумалась. Было видно, что она обиделась на Юсупа, сказав: «Я не ожидала такого. Я же к нему, как к родному, относилась». Но дочь не ругала. А сама, наверное, думала — вышла бы Полина за Юсупа — и была бы сыта и богата? Да жалко дочку за старика отдавать. А Полину смутило еще неприятное совпадение. Недавно она прочитала книгу о том, как продали одну девушку в жены старику. А он держал дом терпимости. И подумала про Юсупа: «То же со мной может сделать».

Полина, видимо, не догадалась раньше, что до письма Юсуп неспроста надел ей на палец дорогое золотое кольцо с бриллиантами,— думал с ней обручиться. Да еще Полина сфотографировалась с Юсупом, по его просьбе. Он принес откуда-то дорогой фотоаппарат.

Полина попросила его сфотографировать отдельно ее, хотелось запечатлеться на память с бриллиантовым кольцом Юсупа. Чтобы оно было видно, она кулачком подперла сбоку свой подбородок. Заодно прикрыла поднятой рукой большой вырез неудачной сатиновой кофты с бантом. Конечно, как не улыбалась, а на лице видна грусть по осужденному отцу в этом 1934 году. Да еще персианская тубетейка слишком сдвинулась на правый бок, вот-вот упадет.

А теперь эту карточку нужно было вообще спрятать подальше от глаз Аксиньи.

После письма мать, видимо, поругалась с Юсупом.

Потом мастерскую закрыли. Всех пришлых торговцев выпроводили из Астрахани, и Юсуп уехал к себе домой в Персию. И не взял у матери это «обручальное» кольцо.

«Так и сорвалось мое замужество,— вспоминала Полина, всякий раз роняя слезу.— И на всю жизнь сорвалось».

Она считала, что поэтому осталась несчастной, и жизнь ее пошла не по тому руслу. Мол, он «нашептал» плохое, когда колдуна приводил в дом. И связывала с этим свои «пророческие», как она считала, сны, будто она или под пол, или в темницу попала. «Говорили, что он запер мое лицо,— промокала платочком слезы Полина.— В упор меня никто не видел и не хотел взять замуж. Кольцом его я так и не воспользовалась. А вот одиночеством на всю жизнь обеспечена, и ненавистью ближних».

Вот интересно, задумывалась Полина, могли отразиться те переживания на будущем ребенке? Наверное, сказались. Три раза он неудачно женился.

Училась Полина в пединституте один год с молодым человеком, которому она понравилась. Но он ей — не нравился. Уж больно мал ростом, как она выражалась, — «чинарик». А от любви до ненависти — один шаг. Потом он все время ей мстил за то, что не ответила ни разу на его чувства и внимание. Особенно, когда, впоследствии, был завучем, а потом и директором в школе, где работала Полина Алексеевна преподавателем математики. А работать ей пришлось вместе с ним почти всю жизнь. Получив от ворот поворот, в пединституте он женился на злой, но талантливой сокурснице Гнусарьковой. И прожила она всю жизнь с ним как за каменной стеной. Потому что он умел ловчить. А Полине он мстил, конечно, из гордости.

Вот почему она не вышла замуж за «чинарика»? Любви хотелось? Так выговорили Полине ее закадычные подружки. С Натой и Клавой она дружила с рабфака. Но когда его окончили, то в институт пошли на разные факультеты. Ната — на литературный. Клава вышла замуж за Сашу Попкова, который работал в НКВД, и уехала с ним по распределению института. Троица распалась. Вскоре и Ната бросила институт. Нужда заела. Она была «безродная». Родная мать отдала ее старшей сестре мужа. А у сестры новый муж взъелся на падчерицу. Из жадности, а может, и того хуже, стал приставать. Ната не поладила с теткой и уехала в Яндыки — в село в Лиманском районе Астраханской области — работать.

В пединституте Полина больше сблизилась с подружкой Мусей. Два года с ней дружила в институте. А раньше, в рабфаке, если и была с ней, то редко. В общем, у Полины в то время стали близкими подругами сокурсницы по институту — Муся и Зина.

Ходила по подружкам, чтобы что-нибудь поесть. Часто приходилось жить на чужих «харчах», у сокурсниц, которые побогаче, у Муси и Зины. Дольше Полина жила у подруги Муси Серовой и ее сестры Галины. Жили втроем. Но бесплатно никто не будет кормить, да еще в трудное время. Поэтому Полина помогала им учить математику и убиралась в их квартире.

Откуда-то Аксинья иногда стала приносить надкусанные куски хлеба, сушила их в чистой наволочке на русской печке. Боря с Леней их размачивали и ели с удовольствием.

Когда Боря при Полине вспомнил об этом при своей жене Маше, пришлось его остановить. Полине не хотелось признаваться, что она с Борей жили «на чужих кусках» и на подаяния тетушек, отрывающих от своих грошей от пенсии рубли на подарки бедным родственникам. стыдно быть нищим.

Напрасно Боря написал об этом стихотворение. Вот оно.

СУХАРИ

*Сухари-сухарики,
скрип в зубах.
А чуть-чуть подсолишь —
еще сахарней.
Ах, какие хрусткие —
зуд в губах.
Не оттянешь за уши
с военных дней.*

*Пятки мелом вымазал —
на печи.
Снимок рентгеновский —
в лагерных трусах.
С ума из сумы
сведут калачи,
Сухари-сухарики,
аршин — в кусках.*

*А положишь в чай —
набухнут в сажень.
Самовар кипит-поет,
дуй на блюдце!
— Бабушка, на базар?
Суму надень!
Бабушка, почему
куски продаются? —*

*Сухари-сухарики —
хороши!..
И вдруг понял с возрастом,
что рос на кусках.
И зубовный скрежет,
и крик души,
Пальцы с хрустом сжимает
в кулак тоска.*

Полина записала со слезами, так что размытые пятна на листке остались от слез, и спрятала в Библию, как какой-то собственный грех для покаяния.

Шел голодный год. Полина жила впроголодь. У Муси тоже вначале не было ничего. Она с сестрой Галей снимали квартиру, жили у буфетчицы, она работала в столовой. Галя где-то гуляла, а Полина с Мусей учили уроки.

Вот сидели так однажды, зубрили, закутанные в одеяло. Холод и голод. Нечем даже согреть воды. Девчата знали, где у хозяйки лежала пайка хлеба. Муся предложила тихо: «Давай подпилим ее паек хлеба немного, незаметно».

«Подпилили» для Муси и для Полины по тонкому кусочку хлеба. Еще больше захотелось есть — еще раз подпилили. «Подпиленный» кусочек хлеба запивали холодной водой. Хозяйка, конечно, заметила, что хлеб убывает, но смолчала. Понимала, как девчонкам тяжело. Было время, когда приходилось учить уроки до утра. Уставшие, заглядывали в окно, как на рассвете солнце поднимается над городом, а они еще спать не ложились.

Поля училась хорошо. Пока долбила-объясняла Мусе, сама наизусть запоминала.

Когда жили втроем у Серовых, расход вела старшая сестра Муся. Полина была гостем, помощницей в учебе Муси, и уборке квартиры.

Потом у Муси в селе умерла мать. И ее отец купил дом в Астрахани на Трофимовой улице. Там девчата также жили втроем — Муся, Галя и Полина. Стало легче учиться. И жили так, пока двухгодичный институт не окончили. Все время отец содержал сестер, помогая им до конца учебы. Галя — была на курсе учителей начальных классов. А Муся — на физико-математическом факультете.

Отец Муси в Астрахань редко приезжал. Он жил и работал в селе Икрыное Аст-

раханской области. Там на рыбозаводе он был мастером по приготовлению черной икры всех сортов. Иногда перепадало поесть дорогой и вкусной черной икры и девочкам. Подруги ее долго «тянули» — сэкономили. Впервые у них Полина полюбила черную икру.

У Полины были и другие подруги, которые приглашали ее в гости. Кто позовет и покормит, туда и шла. Вот так приходилось дружить. Но правильно говорится: друг не тот, который тебе нужен, а тот, кому ты нужен.

«Конечно, нищета меня часто обижала, — как-то вырвалось признание у Полины в горькую минуту. — Ведь молодая была, хотелось одеться».

Как-то на ней была чиненая серая кофта из хлопчатобумажной ткани. Так Муся даже скривилась, увидев ее в этой кофте. Потом Полина старалась в люди не надевать «чиненое».

Мусе хорошо было шиковать — отец икру делал.

А у другой ее подруги Зины отец был закупщиком скота.

Все подруги состоятельные. Но кусок зря не дадут. Как выражалась Полина: «Поднимут кусок повыше, де, мол, смотри, какие мы щедрые. Зато с тебя сто шкур сдерут. И уберись, и выучи их, несколько раз объясняя, до тошноты. Обе были тупыми и ленивыми. А меня нищета и нужда тянули. Я одна выбивалась».

Вот и жила Полина месяцами у Муси Серовой. Акси́нья не беспокоилась за нее, знала, что Полина дурного ничего не сделает. Только время от времени все же приходила сверяться, жива ли Поля? Шутя или всерьез? Всякое может быть.

С Зиной Сиротенко Полина познакомилась в двухгодичном институте. Ее семья жила богато, в двухэтажном доме. Одна дочка у отца с матерью. Правда, ее мать все время прихварывала. Но Зине хотелось, чтобы Полина с ней дружила, и она «огни-мала» ее у Муси. Трудно было жить Полине. Поэтому она по обстоятельствам ночевала то у Муси, то у Зины.

Зина была очень красивая, украинка, всегда хорошо одетая. Полина по красоте ей не уступала и за ней тянулась. Однажды даже решительно купила на стипендию себе на платье. Пришла пора цветенья и любви. Полина то с Мусей, то с Зиной ходила иногда на танцы.

Мать Зи́ны часто собирала у них в доме вечеринки, приглашала подружек дочери с ребятами. Стала приглашать и Полину. Накрывала стол. У Зи́ны был друг Николай. Зина впоследствии вышла за него замуж. Но у него болели ноги, и он рано умер. Оставил ей двух детей, девочку и мальчика, которые позже учились у Полины.

Все тяжести в большой семье лежали на Акси́нье и на Полине. Хотя была старшая сестра — Елизавета. Она ведь первая родилась у Акси́ньи, в 1914 году.

Но таким дурам, признанным врачами, не нужно иметь детей, чтобы не пускать их на верное страдание.

Лиза, наверное, все-таки была шизофреничкой. Было с ней что-то непонятное. Она считала, что должна все время куда-то бежать. После того, как Акси́нья уговорила ее искупаться в святой воде, это с ней прошло, но не совсем. Может, она стала понимать сама, что эту порчу ей «сделали» колдуны.

Елизавета привезла в Астрахань грудного сына Леню, отняла его от груди полутора лет. И уехала. Акси́нья Леню выходила. А когда ему было три года, Елизавета вновь явилась в Астрахань. В это время Полина была дома и попросила сестру взять Леню с собой. Но Елизавета не взяла, сказав Полине: «Ты его привезешь. У меня квартира в Сураханах. Я там работаю». Уехала — и с концами.

Полина была молодая, беззаботная. Было ей тогда 19 лет.

И вот она, окончив первый курс института, летом решила отвезти трех годовалого племянника Леню к Елизавете в Баку через Каспийское море.

Полина про себя решила, что за морем кое-что купит, потому что вся оборвалась в финскую войну. Для этого решила купить в Астрахани картонный чемодан дрожжей и на Кавказе их продать по мелким кусочкам, чтобы заработать себе на обновки. Но все дрожжи в дороге растеклись от жары, вздулись и испортились. Пришлось их, со срамом, выбросить за борт в море. Так что об обновках пришлось забыть.

Полина приехала в Баку, считай, без приключений, если не говорить о дрожжах. Но Леня что-то расщипал. Вцепился в ее волосы, да так сильно, что не оторвать. Мужчина какой-то разжимал ему кулачки. Злой он был очень сильно с детства. А может, помнил, как с ним обращались у матери, и не хотел к ней возвращаться. Но потом успокоился.

Полина нашла Елизавету за городом, в рабочем поселке — в Сураханах. А сестра — опять с «животиком». Полина бежит за билетом в Астрахань, считается в длинной очереди, боясь потерять свой номер. А Елизавета бросила ребенка и ушла «на работу». Уехать Полине домой было очень трудно. Ходили две шхуны по Каспийскому морю, и билетов не хватало. Полина ездила много раз на морской вокзал считаться в очереди — и все время опаздывала. Хорошо еще из очереди не выгнали добрые люди.

И вот раз утром Полина решила спросить приличного молодого человека — куда он едет. Выяснила, что в Астрахань. Парень сам согласился взять ей билет, так как стоял в очереди двенадцатым. Полина быстрее поехала на квартиру к сестре. Ехать нужно было загородной «кукушкой» (такой маленький поезд) за 1 рубль. В Сураханы она доехала. Открыла дверь, а около порога лежит Ленечка. Пока Полина стояла в городе за билетом на шхуну, он весь обмарался в говне, бедный, кричал долго, звал мать — и так не дождался и уснул около двери.

Полина подняла, помыла Леню, накормила, уложила на кровати. И решила достать свои деньги на билет. Она спрятала их за висящую на стене картинку. А там их нет! Все обыскала в доме — ни копейки. У Полины осталось в кармане всего пять копеек, 2 и 3 копейки. Ехать не на что. А нужно! Испугалась, что не уедет.

Тогда Полина решает на такой шаг. Просить этого парня, чтобы он довез ее до Астрахани на свои деньги, а дома она деньги отдаст. Но у нее и на «кукушку» даже рубля нет. Только собралась уходить с чемоданами, Леня проснулся, и, почувствовав, что она уезжает, начал плакать. Что делать? Подождала, Елизаветы нет. Время не терпит, стала уговаривать Леню, гладить его. А он просится на руки и не хочет отпускать. Сердце зашло у Поли. Его оставить — не отпускает. Увезти его — тогда зачем она сюда ехала? Везла его к матери? Решается опять оставить его одного, а сама ревет от жалости. Все-таки обманула бедного племянника, схватила чемодан — и на поезд-кукушку побежала. Добежала, до станции полтора километра от их дома. Так сестру и не встретила по пути. Денег нет на проезд. Стала умолять начальницу станции дать ей один рубль на дорогу. Сказала, что по дороге она разошлась с сестрой. Обещала, что на обратном пути она отдаст рубль. Обрисовала Елизавету. Та сжалилась, дала ей один рубль на билет на «кукушку».

Так Полина приехала на морской вокзал из Сураханов с пятаком. С горечью поняла, что все ее деньги Елизавета украла.

А на вокзале парень уже ждет. Через два часа посадка. Билет взял. А она приехала с пятаком.

Поля обманывать не умела, но стала убеждать парня, что сестра вот-вот подъедет с деньгами. А сама знает, что ждать бесполезно. Не затем Елизавета их взяла. «Свои люди — сочтемся», — не раз слышала от нее в подобных случаях.

Началась посадка. Полю увидел мужчину, который считал очередь, и сказал ей:
— Я вам оставил номер четыреста.
— Мне взял билет один человек, да денег у меня нет, — ответила Полина.
От горя все мужчине этому рассказала. Он вынул три рубля и отдал ей на хлеб.
Есть же на земле добрые люди! Поля купила на дорогу два килограмма хлеба —
размола.

— А где я увижу вас, чтобы отдать?

Мужчина только махнул рукой:

— В Астрахани увидимся.

А молодой человек стал торопить Полину с посадкой. Она с отчаяния сказала ему:

— Продавай билет, а то опоздаешь. Нет сестры...

А он, видимо, понял ее отчаяние и решил помочь:

— Нет уж. Я тебе поверил. Довезу тебя до Астрахани.

Поля была так довольна, и спросила:

— Как тебя зовут?

— Василием.

— Спасибо тебе, Василий. Как только приедем, я сейчас же тебе отдам. Меня будут встречать, — сказала Полина.

Погрузились на палубу. Билеты были палубные. Народу — больше, чем надо. Как скотину, набили, но поплыли.

А ночью поднялся шторм. Суденышко трещало, все мачты поломало, когда проплывали Дербент (самое глубокое место на Каспии). Судно заливает, какой-то кошмар. Вот здесь Полина струсила. Думала, все погибнут. Шторм, наверное, десять баллов. Кричала между собой команда, бегали, спасали судно. В общем, спаслись чудом, да умением капитана.

А многие пассажиры решили: «Ну, все — конец!»

Василий где-то под лодкой спал. И Полину сморил сон. Очнулась — тишь, ночь. Что-то болтается у нее в головах. Оказались — ноги с одной стороны и с другой стороны, от них голова ее перекачивается. Люди стонут. Многих рвет. Кричат: «Умираю!»

Утром наступил штиль. Море — как зеркало. А все равно судно как-то вздрагивало, до тошноты. Зыбь. Но Полина сравнительно хорошо переносила качку. Пришел из клозета Василий. Тоже, вроде, ничего себя чувствовал. Все сидели на палубе вповалку. Многие стонали.

Полина услышала, что какой-то мужичок рассказывал «рацею»: «Вот у меня шпана украли двести рублей. Я дал телеграмму, и мне выслали на билет. А что бы делала девчонка на моем месте? Пропала».

Полина обернулась к нему — и сказала: «Вот перед вами такая девчонка. Еду на чужие деньги. Этот добрый человек везет меня на свои деньги. И ничего со мной не случилось».

Поля не любила хвастунишек, особенно вот таких мужичков. Всех, конечно, она такой репликой заинтересовала. Стали ее спрашивать: что да как? Ох, да ах! И вдруг кто пирожков, кто рыбы, кто мяса — все со всех сторон ей надавали. Не брала. А измученные пассажиры уговаривали: «На еду смотреть не можем. Пропадет добро. Ешьте!»

Полина заранее купила таблеток от морской болезни. Сама выпила и Василию дала одну. Может, и это помогло. А может, пустой желудок. Она же целый прошлый день ездила, ничего не ела. А Василий на вокзале в очереди стоял. Так что с ним она хорошо поела «за спасибо». А вечером, как стемнело, шхуна была уже в Астрахани.

Все же парень довез Полину до дома. Так она с пятью копейками переплыла Каспий.

Когда подъезжали к пристани, Полина с тревогой подумала, а вдруг тетушки не придут встречать? Телеграмму не давала, не на что.

И решила Василию сказать об этом:

— Тогда поедем ко мне домой. Я тебя накормлю. Помоешься и дальше поедешь утром. Отдохнешь.

А ехать ему за Саратов, в какую-то деревню.

Подъехали. А на пристани тетя Оля и тетя Шура ее высматривают.

— Замучились тебя встречать! — говорят. — Все истерзались — Полина пропала.

А Поля, обнимая их, призналась:

— Приехала с пятаком. Вот молодой человек привез.

Смотрит, а его нет. Только сундучок его рядом с ее чемоданом стоит, горбатенький. Где же Василий? Она бегала по пристани, звала его, а он пропал. Наконец, сообщила, что ему ведь надо ехать дальше — значит, он ушел узнать насчет билета — в свою деревню. Нашла Василия в кассе. Отдала ему горбатенький сундучок и деньги. Тетушки, слава Богу, наскребли.

Полина была счастлива, но сказала назидательно: «Спасибо тебе, добрый молодец, — выручил. Но ты так не доверяйся. Все бросил и убежал».

Василий улыбнулся ей: «Уж я тебе доверился, ты не могла меня обмануть. Я тебе верю».

Распрощались друзьями. И больше Поля его не видела ни разу. А фамилию и адрес не знала.

У Полины, по ее словам, были хорошие ребята в юности, и дружили честно. С Яшей она дружила пять лет, и, как он выразился, «без запятых». Яша учился заочно в Сталинграде в автодорожном институте, а работал в Астрахани шофером. Для Полины он был, «как подружка, только в брюках». Он приходил к ней домой. Аксинья его очень уважала и считала: как закончит Поля институт, так они поженятся. Так и жили.

Чем жили? Но выжили, только здоровья не нажили. Все три грыжи у Полины — отголоски тяжелой жизни. Раньше она забывалась, хватала тяжести, которые девушке не под силу. Ведь, кроме нее, не было никого. Так что надрывалась Аксинья и, конечно, наваливала на себя Полина. Думала, молодая, энергичная, что сделается? Но ей уже раньше, в 18 лет, вырезали паховую грыжу. Врач тогда даже не пустил ее домой, когда она пришла к хирургу на прием. Сразу положил в Александровскую больницу. Стали готовить к операции. А Полина — голодная.

Аксинья в то время все больницы обегала — Полина пропала.

Пришла к молодому человеку дочери — Яше. Стали искать Полю с Яшей, и только на второй день нашли.

Яша купил пропавшей девушке четыре пирожных. Она, голодная, сразу их съела — и у нее поднялась температура. Врач чуть не избил ее, так ругался. Пришлось отложить операцию, пока не сбили температуру.

Операция прошла очень тяжело. Поля кричала, а врач кричал на нее: «Ори, ори! Все кишки твои вылезают».

Зато после Полина жила без паховой грыжи почти 30 лет, пока пупочная не появилась.

— От стоячей работы, ваша грыжа, — сказал врач в Москве.

— А сесть нельзя, не то они, ученики, сядут на шею, — сказала врачу со стоном учительница Полина Алексеевна.

В молодые годы Полина, бывало, веселилась с молодежью. Как-то озорничали в доме с квартирантами. Поля неосторожно махнула рукой — и почувствовала на руке

царапину. Посмотрела на кольцо Юсупа — а глазка одного из шести на нем нет. Позже кто-то выковырял и второй бриллиант. Поля спрятала кольцо — все равно все шесть глазков исчезли — имели большую цену. Так кольцо от персиянина обесценили. Позже Поля видела у мамы один лишь тоненький золотой ободок от своего подарка. Аксинья держала его в золотом ломе, среди которого хранила и Полины сломанные сережки, и страшные золотые коронки. Блеск нищеты! А потом и это исчезло. У сестры Насти тоже алмаз исчез из кольца. Так пропажи и покрылись тайной.

Семья голодала — берегли каждую вещь. Поэтому и появились домашние воры, которых Аксинья звала осторожно — блудни. Блудили и Леня, и Боря, и Лада, и другие — сильно хотелось есть, продавали тайно себе на хлеб. Раз такое дело, Аксинья поспешила тогда распределить детям свое «приданное». Так что, была нужда, и «били» добрые люди.

Где же все выдержать Аксинье, которая сгорела в 61 год. А дочь ее Поля сохранилась, потому что в молодости были хороший сон и девичья беспечность.

Молодость всегда беспечна. Были и смех, и дружба, и настоящая любовь. Все это — параллельно с нуждой.

Однажды Поля проспала подъем, вскочила утром с кровати, умыла лицо холодной водой, надвинула шляпу набекрень — и бегом в институт. Едет в трамвае. Кто посмотрит на нее — с улыбкой отворачивается. Только маленькая девочка, сидящая напротив, неотрывно смотрела поверх глаз Полины. Она потянулась к зеркалу в трамвае — а у нее нарисован черный крест на лбу. И, как умывалась, размыла сажу на щеках. Быстро отвернулась к окну — и давай слюнями оттирать. В институт, конечно, успела. Ведь строго спрашивали за опоздания. Но на занятия пришла — вся ситцевая, серая. И умывалась в перерыве, но без мыла все смыть не удалось, только лицо покраснело. Ребята спросили: «Полина, ты что, из печки вылезла?»

Так Полю осрамил квартирант Василий. Он жил у Аксиньи с сестрой в маленькой комнате. Это они хозяйку вымазали ночью сажей. Еле лицо Полины отыскали — кругом много ног. Ведь хозяйские дети спали «валетом» на одной кровати. За это Поля и его с сестрой тоже намазала сажей, когда они спали, и поехала в институт.

Дружила Поля и с парнями. Была симпатичной, веселой, душевной. Позже познакомилась на маскараде в пединституте с Володей. Он подошел и пригласил ее на танец. А потом и не отставал два года, пока она училась в двухгодичном институте. Володя Щербаков был студентом рыбвтуза. Парень буквально прилип к ней. Говорил: «Много у меня было девушек, но ты, Поля, особенная». Много ли было — это он погорячился, судя по его положительному характеру. «А какая я особенная, не знаю», — посмеивалась Поля. У подруги Зины они собирались компанией вчетвером и вшестером. Были угощения, мама Зины готовила хорошо. Иногда четвертинку наливочки ставила на стол для парней. Хорошие были ребята, скромные, умные.

Володя Поле тоже понравился. Он был ростом вровень с Полей, не высокий. Но ей могучие парни и не нравились. А как раз такие и встречались на ее вкусу.

Володя приходил из рыбвтуза после занятий домой к Поле. Старался чем-то помочь Аксинье. Доставал — то мыло, то чулки, по мелочи, ведь трудно было все достать. Если Поли нет дома — шел к Мусе. А там девчата намечали пойти или в кино, или на танцы. Иногда устраивали застолье. Так долго у них было. Володя дружил с Николаем, который потом стал мужем Зины.

Володя был искренним другом, очень любил Полю. Но она стала замечать, что в их компании Зина липнет к нему. То его страстно целует при игре в бутылочку, то вообще щебечет ему на ухо. Но, по пословице: «Больше двух — говорят вслух».

Это Полю насторожило и обидело. И не напрасно — вскоре дружба с Зиной порвалась. И не только с ней, но и с Володей.

Произошло это перед самым окончанием учебы и распределением на работу. Обычно у Зины собирались для застолья три пары. И в очередной раз Володя пришел из общежития рыбвтуза домой к Поле, но Аксинья сказала, что Поля у Муси. Тогда Володя зашел к Мусе, на Боевую улицу, в другом конце города, и сказал Поле:

— Сегодня мы собираемся у Зины, она нас звала.

Полина в недоумении насторожилась, а почему Зина ей ничего не сказала?

У Полины платье и туфли были у Муси, и она быстренько оделась. А душа болит.

Володя уверял, что ее мама Аксинья твердо сказала, что Поля знает о встрече у Зины. На всякий случай Поля сказала Володе:

— Иди вперед. Если там кто есть, я войду. А если тихо, то я уйду.

Он вошел первым. Послышались радостные возгласы Зины:

— Володя! Здравствуй...

А о Полине — и речи нет. Она от обиды метнулась уйти, но дверь в коридор отворила мать Зины. И пришлось Поле войти.

И тон у Зины сразу понизился:

— А, Полина... Проходи?

Полина заметила, что стол набран. Но ее, видно, не ждали.

— Ты маме говорила? — выпалила Поля.

— Нет, — замялась Зина. — Я Настю видела, и ей сказала, что мы собираемся.

Поля поняла, что Зина врет. Села за стол, как опущенная, а сама чувствует, что разговор не клеится, бывшей близости нет. И других гостей не ждут, судя по накрытому столу.

Поля быстро встала и пошла к выходу.

— Ты куда? — встревожился Володя.

— Болит голова, — сказала Поля и вышла.

Она не дошла еще до угла — Володя ее догнал:

— Поля, Полечка! Да ты что? Я не знал ничего...

— Может, и так. Но дружбе настоящей — конец.

— Я с ней не буду никогда. Она пустая, — взмолился Володя.

Поле обида рвала душу:

— Если я — бедная, так хоть клок волос отнять?

Володя стал уговаривать ее. Так они шли всю дорогу, они впервые разругались и расстались. Но Володя до Муси Полю все же проводил. И она всю ночь проревела.

Это был конец любви.

Это был и конец экзаменов. Потом — распределение. Мусю направили на работу в село Петропавловку. Кстати, оттуда родом и Полина, там жили ее отчичи и дедичи Подлипалины. Но ее туда не направили, а отослали — в дикую степь, на Дон.

«Вот такие мы — «простодыры», — всплакнула как-то после очередного обмана Полина. — Думаем позже, не видя беды».

После разрыва с Володей Полина погоревала, поплакала — и молодость взяла свое. Надо жить.

С Володей Полина встречалась после этого только один раз. Пошла с Мусей на танцы. Подошел высокий, красивый парень и пригласил ее потанцевать. Во время танца вдруг за руку ее схватил Володя. И начал умолять поговорить. А незнакомый парень возьми и скажи с гонором:

— Что вы нам мешаете танцевать? Оставьте мою девушку.

И отшил Володю.

А Поля не знала даже, как звать этого парня. Он потанцевал и исчез. А Володя подумал, что Полина теперь встречается с другим.

Как склеишь разрыв? Полина, пересилив себя, решила как-то сходить к Зине домой. Ведь она не раз ночевала у нее, когда долго засиживались на занятиях. Полина

знала, что Володя после танцев наверняка мог зайти к Зине, так как нельзя поздно возвращаться на Болду в общежитие, где он жил. И угадала. Зина сказала, что он приходил к ней и сказал, что переведется на учебу в другой город.

«Вторую судьбу я тоже потеряла,— горько вздохнула однажды Полина, промокнув мокрые глаза платочком.— Отбила богачка Зина. Но Володя Щербаков с ней дружить не стал. Хотел он вернуться ко мне — я не захотела, его обвинила, а напрасно».

Зина вышла замуж за своего друга Николая. Николай — хороший парень, но скоро он умер. Больше Полина не видела Володю и ничего не слышала о нем.

Как-то Поля еще раз пришла к Зине, вспомнить молодость, может, узнать что-нибудь о Володе. У Зины мать с отцом скончались. У ее сына Гены уже были дети. Их дети, девочка и мальчик, потом учились у Полины в школе. Семья Гены жила отдельно от Зины в трехкомнатной кооперативной квартире. Но сноха неудачная, жаловалась Зина. Путалась с бывшим другом сына. Зина в школе не работала, а занялась хозяйством — корова, дом, продавала молоко на Больших Исадах. Гена стал врачом. А Зина жила одна. Позже Гену убили в драке. Горе-то какое!

Так что счастья не было и у Зины. С таким-то богатством!..

Двухгодичный физико-математический факультет пединститута Полина окончила в 1938 году, на отлично. Когда окончила, сразу подала документы на третий курс заочного отделения четырехгодичного пединститута. Поэтому диплом за окончание двухгодичного факультета ей сначала не дали, но распределили уже на работу учительницей. Полину по комсомольской путевке послали на Дон, в Клетскую Почту. Там ей предстояло начать самостоятельную жизнь.

Муся все же, с грехом пополам, окончила двухгодичный институт. Но ее оставили работать в Астраханской области — отец помог. Видимо, сыграла роль его черная икра. Мусю направили работать в Петропавловку. Но приезжала комиссия в Петропавловку, где она работала. И Мусю быстро рассчитали. Она бросила работать учительницей, переехала к сестре Гале, работала у нее в школе уборщицей. Осталась жить в Астрахани у сестры Гали и вышла замуж.

А Галина стала заведующей начальной школы. После перешла в среднюю школу № 11. И Полина с ней долго вместе работала. Позже Галину разбил паралич, рука и нога правая не действовали. Но она ходила. И была несколько раз у Полины в гостях. А потом умерла. Полина всех помнила и поминала, потому что эти люди много ей помогли в юности, хотя и не бесплатно. Трудные были годы.

(Продолжение следует)



Аркадий Мар
(г. Нью-Йорк, США)



ВАЛЬС ДЛЯ НАТАШКИ
(Повесть в новеллах)

Писатель и журналист, автор 14 книг повестей и рассказов, изданных в Москве, Ташкенте, Монреале (Канада). Член Союза Писателей СССР, России, Москвы, Узбекистана. Член Международного ПЕН клуба. Издатель и главный редактор газеты «Русскоязычная Америка NY». Лауреат четырех литературных премий: «Лучшая детская книга России», «Артиады народов России», «Серебряная литера». Лауреат Международной литературной премии Владислава Крапивина.

ВАЛЬС ДЛЯ НАТАШКИ

Наташка крепко прижимает к себе жирафа Леньку и шепчет:

— Только не спать, только не спать.

Да, сейчас она очень боится заснуть — ведь завтра день ее рождения и ей так хочется поймать ту минутку, когда исполняется целых шесть лет, когда вырастаешь сразу на целый год.

Перед тем как лечь, она попросила отца сделать отметку на двери. Стояла она честно — даже не поднялась ни разу на цыпочки, и черная карандашная черточка пришла чуть ниже дверной ручки. Интересно, где будет эта смешная черточка завтра — утром Наташка обязательно измерится опять...

Но сейчас нужно закрыть глаза и притвориться спящей — отец подходит к ее кровати. Глаза не хотят закрываться, хочется засмеяться, и поэтому пришлось перевернуться на живот и уткнуться в подушку.

Отец что-то положил рядом с ее кроватью.

Наташка уже знает — это подарок. Большой сверток, завернутый в целлофан и перевязанный красной шелковой лентой. Отец прятал сверток в шкафу, но ее не проведешь — она сразу поняла, что это подарок.

Но что же там? Может, кукла? Может, смешной надувной крокодил? Интересно бы посмотреть. Но сейчас ей некогда, и она потерпит до утра.

Отец выключил лампу, и стало совсем темно. Раньше Наташка боялась темноты и даже визжала от страха. Теперь же приятно чувствовать себя большой и сильной. Пусть будет совсем-совсем темно — ей ни капельки не страшно. Она может даже встать и, не зажигая света, пойти на кухню или в ванную. Только неохота...

В соседней квартире медленно начали бить старинные часы и Наташка про себя считает их удары.

Где она слышала, что день рождения наступает ровно в двенадцать часов ночи, Наташка забыла, но это уж точно, и поэтому теперь нужно вытерпеть и не заснуть...

Но целый, целый час — как еще долго...

Наташка поворачивается на бок и смотрит на стену. Над ее кроватью висит большая фотография. Сейчас темно — фотографии не видно, но Наташка на память может сказать, что на ней сфотографировано.

На этой фотографии живет ее мама. Пусть говорят, что люди, которые умерли, не возвращаются, но Наташка знает: когда-нибудь мама сойдет с фотографии и опять будет жить вместе с ними. Только нужно очень этого хотеть... Наташка представила, как мама шагнет с фотографии прямо в комнату, крепко-крепко обнимет ее и спросит:

— Ну, как вы там, соскучились без меня?

А пока Наташка сама ухаживает за отцом: ведь отец такой неприспособленный. Так про него сказала соседка Мария Степановна...

О чем бы еще вспомнить?

Вчера Наташка вытирала полотенцем шкаф — и он вдруг заблестел так, что в его полированных створках отразилась смешная девчонка со съехавшим на затылок бантом и высунутым от усердия языком.

Наташка высунула язык еще больше и показала его шкафу. И противный шкаф сделал то же самое...

Как хочется спать... Наташкины глаза стараются закрыться, и она сильно-сильно трет их руками. Она трет глаза и жирафу Леньке — пусть тоже не спит. Ее жираф очень хороший — он умеет внимательно слушать и никогда не говорит, как отец: «Мне некогда»...

Сейчас Наташка расскажет ему о своей мечте. Слушай, жираф Ленька. Слушай внимательно и не спи. Каждый день, возвращаясь из сада, Наташка тянет отца к соседней девятиэтажке. Там на втором этаже живет мальчик. Знакомых мальчиков у Наташки много, но этот не такой, как остальные. Он умеет играть на скрипке. Наташка часто подходит к его дому, и, затаив дыхание, долго стоит неподвижно. Она слушает... И иногда мальчик начинает играть. Простенькие звуки вальса поднимаются в небо, и Наташке начинает казаться, что все вокруг останавливается, замирает, и на всей-всей земле остается только одна музыка.

У Наташки почему-то щиплет в глазах, прозрачные капли скатываются по щеке. Как странно. Ведь ей совсем не хочется плакать...

И Наташка мечтает о том дне, когда она возьмет эту чудесную скрипку, проведет по ее струнам, и вдруг скрипка запоет, звуки вальса поднимутся высоко в небо, вокруг все остановится, замрет, и на всей-всей земле останется только одна эта музыка.

КОРОЛЬ И БЕЛЫЙ ЩЕНОК С ЗОЛОТЫМИ ВЕСНУШКАМИ

Я приложил руку к Наташкиному лбу, и моя ладонь тотчас стала влажной. Блестящие бусинки пота скатывались вниз, прямо Наташке в глаза, и она нетерпеливо смахивала их.

— Папа, возьми меня на руки,— вдруг попросила Наташка.

— Но ведь ты уже большая. Сейчас тебе нужно спать. Попробуй, засни, а завтра будешь совсем здоровой.

— Я еще маленькая,— не согласилась Наташка,— а раньше ты всегда брал меня на руки. Я буду лежать тихонечко-тихонечко и сразу-разу засну.

Я укутал Наташку в мохнатое одеяло и взял на руки. Ее горячая голова прижалась к моему плечу. Я старался мягко и осторожно ступать на носках, но полы рассохлись и тихонечко поскрипывали вслед каждому шагу.

— Папа, расскажи мне сказку.

— Ну вот! Ты же обещала заснуть.

— Пожалуйста, я тебя очень прошу. Хоть самую маленькую сказку.

— Но я не знаю, с чего начать,— сказал я.

Наташка удобнее устроилась у меня на руках и зашептала в ухо:

— Далеко-далеко, за высокими горами, за глубокими морями жил-был Король.

— Далеко-далеко, за высокими горами, за глубокими морями жил-был Король,— повторил я, совершенно не зная, что сказать дальше.

— Ну что же ты молчишь? Даже это не умеешь,— сказала Наташка, и я понял: еще секунда и она заплачет.

В наше окно заглянула луна и вдруг расстелила по комнате серебряную фольгу.

Я посмотрел в Наташкины блестящие, наполненные слезами глаза, и начал снова:

— Далеко-далеко, за высокими горами, за глубокими морями жил-был Король.

— И у него были усы,— быстро подсказала Наташка.

— Хорошо, пусть. И у него были усы. Я знал, почему она сказала про усы. Мой товарищ Алексей носил роскошные усы, и Наташка обожала, забравшись к нему на колени, наматывать на пальцы пушистые завитки.

— А когда Король пил водку, как ты с дядей Лешей, то пел песню «Отговорила роща золотая».

— Наташка,— обиделся я.— Во-первых, мы не пьем водку, ну ладно, иногда и чуть-чуть, а во-вторых, не буду больше рассказывать сказку, раз ты такая умная,

— Не будешь рассказывать — я буду долго болеть, потом умру и тебе больше никто не будет вытирать пыль и мыть посуду.

Я испугался и стал думать, что бы еще сделать с этим проклятым Королем...

— Жил Король в большом красивом дворце из сорока шести комнат.

— Нет,— перебила Наташка.— У Короля не бывает столько комнат. Он живет в двухкомнатной квартире, как мы.

— Наташка,— возразил я.— Сказочным Королям всегда полагается жить во дворцах.

Но Наташка со мной не согласилась.

— Этот Король живет в двухкомнатной квартире. Я была у него в гостях. Там очень много игрушек, а в ванной из крана течет вкусный-вкусный лимонад. И еще у Короля есть белый щенок с золотыми веснушками.

— Не бывает щенков с веснушками.

— Нет, бывает,— обиделась дочь.— Бывает, бывает. Мне он снится каждую ночь. И играет со мной. И Король тоже со мной играет. Мы бегаем по лесу и догоняем друг друга. А когда я устаю и сажусь на землю, щенок подходит, лижет меня и говорит: «Ну поиграй еще со мной, ну поиграй, пожалуйста. Ведь мне так долго приходится ждать, пока наступит ночь и я вновь тебе приснюсь». И мы снова начинаем играть... А потом я иду к Королю в гости. Король закуривает трубку, пускает дым кольцами и начинает рассказывать разные удивительные истории. А когда мне нужно проснуться, я говорю им: «До свидания. Пожалуйста, приходите ко мне в следующем сне».

— Как зовут твоего щенка?

— Просто щенок. Белые щенки с золотыми веснушками получают имя, когда становятся взрослыми. Щенок сказал: «Когда я вырасту, придумай мне самое красивое имя...» А теперь, папа, положи меня в постель. Я хочу, чтобы они быстрее приснились...

Наташка зажмурила глаза, ровно задышала. Прошла минута, другая, я заметил, что уголки ее губ начали приподниматься, рот приоткрылся.

Наташка что-то зашептала во сне, и я понял, что она вновь встретила с Королем и своим щенком с золотыми веснушками.

ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

— Наташка,— сказал я за завтраком.— Сегодня воскресенье, но мне придется пойти на работу. Что же с тобой делать?

— Не волнуйся,— ответила дочь.— Вечно ты обо мне волнуешься. Это я должна о тебе волноваться.

— Делать нечего, ладно, оставайся дома. Только поешь вовремя. Что-то ты похудела за последнее время. Одни кожа да кости остались.

— Ничего ты не понимаешь,— не согласилась со мной дочь.— В саду все говорят, что у меня французская фигура. Это сейчас очень модно.

— Эта мода уже кончилась,— сказал я.— Сейчас во Франции модны очень даже упитанные дети.

— А ты точно знаешь?

— Конечно. Даже по телевизору сообщили.

— Что-то не слышала,— недоверчиво проговорила Наташка.— Ну ладно, тогда доем торт и выпью два стакана компота. А ничего, что тебе торт не достанется? Тебе же не нужно полнеть. Ты ведь и так упитан.

Я не стал спорить, поцеловал дочь, на ходу дожевывая кусок колбасы и пошел на работу...

Наташка подошла к окну. Во дворе не происходило ничего интересного. Было лишь десять часов и, наверное, ее друг Вадик, еще спал. Но вот кто-то вышел из соседнего подъезда. Наташка открыла окно настежь, перегнулась через подоконник. А-а, она вспомнила! Вчера, когда она гуляла, к соседнему подъезду подкатила машина, доверху наполненная вещами.

«Смотри, Наташка, новые жильцы въезжают,— сказала тогда соседка Мария Степановна.— И мальчик там есть. Друг тебе еще один будет».

Наташка увидела мальчика. Он стоял рядом с машиной и прижимал к себе большую черную папку. Наташка хотела подойти посмотреть, что это он прижимает к себе,— может интересное что-то, но тут ее позвал отец и пришлось идти домой...

Наташка вышла в коридор, сняла с гвоздя ключ от квартиры, положила в карман, захлопнула за собой дверь и стала спускаться по лестнице. На площадке второго этажа она увидела Катю.

— Я хочу с тобой серьезно поговорить,— сказала Наташка.— Передай своему знакомому, что если он будет мучить кошек, ему хуже будет.

— Что ты, Наташка! Вечно все выдумываешь. Очень нужны ему кошки. Он весь день на мопеде гоняет. Хочешь, попрошу, тебя тоже покатает?

— Не нужен мне его мопед. И на твоём месте я бы вообще перестала с ним дружить.

— А тебе какое дело,— обиделась Катя.— Я уже в шестом классе учусь, и не собираюсь слушать такую малявку, как ты...

Наташка вышла во двор. Настроение было совсем испорчено из-за этой Катюшки. И тут она вспомнила совет своего друга Вадика.

— Наташка,— говорил он,— когда у тебя плохое настроение, подерись с кем-нибудь. Это всегда здорово помогает!

Наташка уважала Вадика. Он быстрее всех влезал на деревья и заборы, дальше всех кидал камни. Как же можно было не уважать такого талантливого человека? Правда Наташка еще никогда не исправляла настроение таким способом, но попробовать было надо, и она подошла к мальчику.

Она глубоко засунула руки в карманы джинсов, изо всех сил прищурила глаза и сказала басом:

— Ты почему сидишь на моей скамейке?

Но мальчик почему-то не стал говорить: «А тебе какое дело?», как отвечали все другие ребята. Он встал и произнес совсем другие слова:

— Извини, пожалуйста. Я не знал, что это твоя скамейка.

«Да,— подумала Наташка.— Очень необычный мальчик». Но настроение пока не исправлялось и она решила попробовать еще раз. К чему бы еще придраться? Но в голову ничего не приходило, и она просто вытащила руку из кармана, сжала ее в кулак и ткнула мальчика в бок.

Затем отскочила назад и приняла боксерскую стойку, как учил ее Вадик. Но мальчик вдруг молча повернулся к ней спиной и пошел к своему подъезду.

— Стой! — закричала Наташка.— Почему ты со мной не дерешься? Ты, наверное, трус. Трус!

— Нет,— сказал мальчик.— Я не трус. Просто мне нельзя драться. Я музыкант.

— Музыкант...— удивилась Наташка.— А на какой музыке ты играешь?

— На фортепиано. И уже за второй класс.

Да, это был совершенно необыкновенный мальчик.

— Как тебя зовут? — спросила Наташка.

— Альберт.

И имя у него было необыкновенное!

— А меня Наташка... Знаешь, ты, Альберт, теперь во дворе никого не бойся. Я лично буду тебя защищать.

— А я тебя научу играть на фортепиано. Хочешь?

— Конечно. Когда начнем?

— Хоть сейчас.

Они вошли в подъезд, поднялись по лестнице и Альберт нажал кнопку звонка.

— Мама, это Наташка,— сказал Альберт.— Мы с ней уже подружились.

— Очень хорошо,— похвалила мама.— Пока поиграйте во что-нибудь, а я обед приготовлю.

— Смотри, это моя комната,— объяснил Альберт.— Только в ней еще беспорядок.

— Не волнуйся, вы же только вчера переехали,— успокоила его Наташка.— А чей портрет на стенке висит? Твоего дедушки?

— Что ты, Наташка! Это великий композитор Чайковский. Вот, послушай, эта пьеса называется «Болезнь куклы».

Альберт сел за фортепиано и начал играть.

— Ну как, понравилось? — поинтересовался он.

— Вообще-то от Чайковского я большего ожидала,— сказала Наташка.— А что, он сочинял только грустную музыку?

— Нет, почему, например «Танец маленьких лебедей» очень даже веселая пьеса.

— Эту вещь я знаю,— обрадовалась Наташка.— Под нее настоящие балерины танцуют! А для чего большая черная папка нужна?

— Там ноты лежат. Я с ней в музыкальную школу хожу.

— Хочу тебя попросить,— сказала Наташка,— когда в следующий раз пойдешь в музыкальную школу, можно за тебя папку понести?

— По-моему очень вкусный кисель получился,— мама Альберта вошла в комнату с двумя стаканами в руках.— Ну-ка, налетайте!

Наташка взяла стакан, подошла к окну. И вдруг, резко повернувшись, побежала к двери.

— Беги за мной! — крикнула она Альберту.— Он опять кошку мучает!

— Куда вы? — спросила мама Альберта.— Допейте хоть кисель, сумасшедшие!

Но они уже через две ступеньки неслись вниз по лестнице...

Возле третьего подъезда, где выбито стекло, стоял красивый красный мопед. Рядом с ним второгодник Максимов из соседнего дома держал кошку за хвост. Голова ее моталась внизу, кошка отчаянно мяукала и извивалась, стараясь освободиться.

— Отпусти кошку, отпусти! — закричала Наташка. — Ты зачем ее мучаешь?!

— А тебе какое дело? Твоя она, что ли?

— Ты... Ты... Живодер, — тихо сказала Наташка.

— Что? Сейчас получишь за живодера! — Максимов толкнул Наташку и она отлетела в сторону.

— Не смей обижать женщин! — крикнул Альберт, подбегая. Он сжал кулаки и бросился в атаку. Но через секунду оказался на земле рядом с Наташкой.

Наташка вскочила, утерла рукавом слезы и вдруг, подняв камень, бросилась к мопеду.

Удар — и на красивом лакированном баке образовалась вмятина.

Удар — и вдребезги разлетелась фара.

— Ты что делаешь!!! — заорал Максимов.

— Отпусти кошку, — сказала Наташка. — А то совсем разобью.

— Ладно, забирай свою паршивую кошку, — сказал Максимов. — Вечером я к твоему отцу приду. Пусть за ремонт мопеда заплатит!

Он отпустил кошку, завел мопед и уехал...

— Какая ты смелая, — сказал Альберт. — А я испугался.

— Если честно-честно, — призналась Наташка, — мне тоже страшно было...
Смотри, у кошки что-то с лапой случилось!

— Кошка сидела посередине двора, облизывала переднюю лапу и жалобно мяукала.

— Отнесем ко мне, — предложила Наташка, и взяла кошку на руки.

— Когда у меня что-то болит, — сказал Альберт, — мама всегда дает мне порошки.

— И мой папа меня также лечит, — подтвердила Наташка.

Она выдвинула ящик серванта и достала большую картонную коробку.

— Смотри, сколько у нас разных лекарств, — сказала она. — Только как узнать, какие кошке нужны?

— Давай их все смешаем, — предложил Альберт. — Один из них обязательно поможет... Смотри, твой отец пришел!

— Что тут у вас происходит? — поинтересовался я, входя в комнату.

— Мы кошку лечим, — объяснила дочь. — Смотри, какая пушистая.

— Кажется, сегодня у вас был день, полный приключений? — заметил я.

— Ты садись. Мы тебе сейчас все расскажем, — сказала Наташка.

КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ ФАЗАН

Большой белый голубь вдруг резко взлетел с ветки старого тополя и кругами начал ввинчиваться в небо.

Наташка козырьком приложила ладонь к глазам и, щурясь на оранжевое солнце, сидящее на крыше соседней девятиэтажки, спросила:

— Интересно, куда это он полетел?

Я на секунду оторвался от газеты «Советский спорт» и, не думая, пробормотал:

— М-м... Наверное, в теплые края.

— В Африку? — мгновенно догадалась дочь.

— Почему именно в Африку?

— Потому что Африка самое теплое место на земле. И потом, расскажи, пожалуйста, что-нибудь про голубей!

Я напрягся и постарался хоть что-то вспомнить из прошлогодней передачи «В мире животных».

— Голуби бывают разных видов,— медленно начал я.— Например, почтовые. В старину, когда не существовало современных средств связи, они доставляли важные сведения... Э-э, есть еще турманы, лохмачи...

— Ага! — обрадовалась Наташка.— Лохмачей я у рыжего Петьки видела. На его крыше все голуби лохматые.

— На какой крыше?

— Ну, где Петькина голубятня.

— Ты что, на крышу лазила? — испуганно спросил я.

— Ты, папа, не волнуйся,— успокоила меня Наташка.— Высоты я ни капельки не боюсь. Петька даже говорит, что поэтому меня можно в отряд космонавтов зачислить.

— Наташка, ну что тебе на крыше делать?— попытался я уговорить дочь.— Оттуда ведь свалиться можно... Представь себе, можно!— строго закончил я, увидев, что дочь собирается спорить.

— А хочешь, я тебе тайну открою? — вдруг сказала Наташка.— Только обещай, что никому-никому не расскажешь. Я кивнул. Наташка наклонилась ко мне и прошептала:

— На этой крыше «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» живет.

— Кто, кто? — переспросил я.— Какой еще охотник?

— Который желает знать, где сидит фазан! Ну, присказка есть такая. Чтобы легче запомнить.

Я отложил газету и насторожился. Наташка презрительно посмотрела на меня и произнесла:

— Ты что, никогда маленьким не был? Этой присказке, наверное, уже лет сто... Слушай!.. Красный. Оранжевый. Желтый. Зеленый. Голубой. Синий. Фиолетовый. А вместе: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!» Теперь понял?

— Так это радуга! — догадался я.

— Конечно. Она на этой крыше и живет.

— Не выдумывай. Совершенно не может быть, чтобы радуга жила на какой-то там крыше! Радуга — сложное физико-оптическое явление, возникающее при разложении белого света на составные цвета спектра,— попробовал объяснить я.

Наташка задумалась, потерла лоб и не согласилась!

— Никакое она не явление. Она совсем как живая и вся переливается. А появляется, как только присказку произнесешь.

— Знаешь что, Наташка! — разозлился я.— Ты мне голову не морочь. Надоело выслушивать твои фантазии! Лучше займись делом. Вон в раковине немытая посуда с утра стоит. А сегодня на кухне твоё дежурство!

— Не веришь?! — обиженно произнесла Наташка.— Фантазиями обзываешься? Тогда давай, собирайся!

— Куда? — не понял я.

— На крышу. К радуге в гости. И если я все-все наврала, то... то... то пусть со мной никто и никогда не дружит. А посуду, не бойся, я и так вымою!

— Хорошо,— сделал я последнюю попытку.— Но зачем же лезть на крышу? Ведь радугу вполне можно с земли наблюдать.

— Как ты не понимаешь? Мы к ней в гости собираемся. А в гости всегда домой ходят!..

Я вытащил с антресолей старые кеды, надел их, закрыл дверь и догнал Наташку уже в подъезде.

Пока мы шли к соседней девятиэтажке, на солнце наплзла похожая на лохматого пуделя с разинутой пастью туча, и мне на щеку упала прозрачная дождевая капля.

— Ой! — сказала Наташка. — Сейчас дождь пойдет.

Я поднял голову.

Тучу насквозь пробивали солнечные лучи, она съеживалась и таяла прямо на глазах, разбрасывая по сторонам редкие тяжелые дождевые капли.

— Наташка, смотри, слепой дождь, — удивился я. — А я и забыл, когда последний раз его видел...

Лифт в девятиэтажке не работал. Мы поднялись по лестнице до самого конца и через раскрытый чердачный люк выбрались на крышу.

— Иди за мной, — сказала Наташка и прошла вперед. Она обогнула торчащие во все стороны телевизионные антенны, забытый строителями ржавый железный бак, пустую Петькину голубятню, подошла к краю крыши и взяла меня за руку.

Далеко внизу виднелся наш двор. На скамейке, возле песочницы, еле видные сверху, сидели пенсионеры и играли в лото.

— Каждый охотник желает знать, где сидит фазан! — громко произнесла Наташка.

Мы посмотрели вокруг, но все осталось также, как и раньше.

Тогда Наташка набрала полную грудь воздуха и закричала изо всех сил:

— Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!!!

Гулкое эхо заметалось по крыше, отскочило от нее, отвесно ударило вверх и, тут же, сверху, неожиданно, вдруг протянулись красные, оранжевые, фиолетовые полосы. Сначала тусклые, они с каждым мгновением разгорались и разгорались, складываясь в тугую семицветный жгут.

Огромная радуга упиралась прямо в нашу крышу и ярко и радостно светила нам с Наташкой.

Мы стояли молча и боялись дышать, чтобы не спугнуть ее...

Радуга давно истаяла и пропала, а я все вглядывался в небо, стараясь заметить и вернуть хоть кусочек этой цветной небесной смальты, частичку и моего полузабытого давнего детства...

Но небо было пустым и чистым...

Лифт в девятиэтажке по-прежнему не работал, и мы, переглянувшись, два пролета проехали на лестничных перилах.

— Пап, а пап, — сказала Наташка. — А пусть эта радуга будет наша. Ну просто наша, и все!

Я согласно кивнул.

Мы уже подходили к своему подъезду, когда любопытный сосед Сурен Вазгенч подозрительно взглянул на нас и поинтересовался:

— Вах! Зачем на чужую крышу лазить?

Наташка незаметно хитро мне подмигнула и произнесла:

— А мы знакомым антенну чинили. Вот!

ФРЕГАТ

— Ну и жарит сегодня! — вздохнула Наташка, вытирая полотенцем взмокший лоб.

Хотя наши окна были раскрыты настежь, воздух в комнате был горячий и душный.

— Интересно, сколько сегодня градусов? — поинтересовался я, взглянув на термометр, висевший за оконной рамой. — Ого, тридцать четыре! Давно такой жары не было.

— Пап, пошли купаться? — предложила Наташка. — Все равно в такую погоду ничего делать нельзя.

Только с условием, что сначала выпьешь стакан молока.

— Ну, ладно,— неожиданно легко согласилась дочь. Она взяла треугольный молочный пакет, аккуратно надрезала ножницами и, запрокинув голову, начала пить.

— Из стакана же удобнее,— заметил я.

Но Наташка со мной не согласилась. Она на секунду оторвалась от пакета и произнесла:

— Зато так вкуснее...

Арык, где мы с Наташкой всегда купались, протекал неподалеку от нашего дома. Вода в нем была желтоватая — наверное, от глинистых берегов, по которым росла дикая ежевика.

Мы поплескались в прохладной воде и вылезли загорать.

Дочь что-то задумчиво чертила по земле, а потом вдруг спросила:

— Интересно, куда течет арык?

— Разве не знаешь? Он за парком культуры впадает в канал Бурджар.

— Да я не об этом! А о том, в какое место из него вообще попасть можно?

Я подумал и уверенно сказал:

— В Аральское море.

— Ну да! Так сразу и в море.

— Конечно, не сразу. Послушай... Наш арык впадает в канал Бурджар. Бурджар — в Чирчик, где всегда холодная вода и много водоворотов. И только потом будет большая река Сырдарья, которая через весь Узбекистан течет на север, в Аральское море.

Дочь перевернулась на живот, опустила руку в воду — маленький тополиный листок уперся в Наташкину ладонь, постоял так, будто отдыхая, потом медленно и неуклюже поплыл дальше.

— Пап, ты когда-нибудь видел море?

— К сожалению, нет,— честно признался я.— Не приходилось.

— Ну, а хоть что-нибудь можешь про него рассказать?

Я напрягся и попытался освежить в памяти полужабытые книги про пиратов и кругосветные путешествия... Но ничего не вспоминалось и я медленно начал:

— Э-э... Морей на земле очень много. Белое. Черное. Желтое. Красное...

— А оранжевое есть? — перебила Наташка.

— Оранжевого нет.

— Жаль. Это мой самый любимый цвет... Может, такое море просто еще не открыли. Как ты думаешь?

Я не стал спорить и продолжил:

— На море бывают приливы и отливы. Штормы — когда очень сильный ветер, и штили — если ветра нет совсем.

— А я слышала как море поет,— сказала дочь.

— Где?

— Павлику из двадцать седьмого дома из самой Феодосии раковину прислали. Большую, красивую из настоящего перламутра. Мы ее по очереди к уху прикладывали. Внутри нее море и живет. И поет тихонечко-тихонечко. Ч-ш-ш-ш-ш. Ч-ш-ш-ш-ш... Только потом раковина куда-то задевалась... Папа, а какие корабли по морю плавают?

— Разные. Крейсера. Эсминцы. Подводные лодки. Ледоколы. Пассажирские лайнеры...

— И фрегаты тоже? Я их на почтовой открытке видела.

— Что ты, Наташка. Фрегатов давным-давно не существует.
— Почему?
— Они просто не нужны. Ведь это парусные корабли и движителем для них служит ветер... Теперь представь, что будет, если на море установится штиль?
Наташка наморщила лоб и сразу догадалась:
— Наверное, как троллейбусы и трамваи, когда в проводах кончается ток.
— В принципе верно,— похвалил я ее...— Только знаешь, мне самому жаль, что эпоха парусного флота закончилась. Наверное, это было прекрасное зрелище. Корабль с наполненными ветром парусами...
— А ты умеешь строгать и вырезывать? — вдруг спросила Наташка.
— Зачем? — удивился я.
— Вчера прекрасную деревяшку нашла. Так и знала, что пригодится.
— На что пригодится? — насторожился я.
— Я уже все продумала! Из нее получится отличный фрегат. А за паруса не беспокойся — у меня материи сколько хочешь наберется.
— Послушай,— сказал я.— Ну зачем нам делать какие-то там фрегаты?.. Если ты так хочешь иметь корабль, давай купим. Я недавно в магазине видел прекрасную модель торпедного катера.
— Как ты не понимаешь! Ведь гораздо интереснее все делать своими руками.
— Ну хорошо,— сдался я.— Придется нам с тобой открыть дома небольшую су-доверфь.
И мы стали собираться...

Я повертел в руках Наташкину деревяшку, карандашом нанес отметины, распилил ножовкой, потом вытащил из ящика с инструментами стамеску. Ее стальная головка легко входила в дерево и выбирала тонкие стружки.

— Ой,— сказала Наташка,— какой у фрегата красивый нос получается. Только зачем ты в нем дырку сверлишь?

— Это важная часть у всех парусных кораблей. В отверстие мы потом вставим бушприт. На нем крепятся носовые паруса... Кстати, скоро они понадобятся.

— Надо же, чуть не забыла,— встрепенулась Наташка.— Сейчас коробку из шкафа достану, в ней столько материи, на сто парусов хватит.

Пока дочь возилась в соседней комнате, я закончил корму, зачистил корпус шкуркой, вырезал мачты, крепко, чтобы не шатались, вогнал их в пазы, стряхнул с брюк деревянную крошку, взял кораблик и подошел к окну.

Я даже не ожидал, что он получится так удачно!

С острым носом и узким корпусом, он чем-то напоминал старинные фрегаты и чайные клипера.

— Наташка,— позвал я.— Ну где же ты?

— Иду,— отозвалась она и тут же появилась с целым ворохом разноцветных обрезков и лоскутков.

— Откуда столько?— удивился я.

— Мне их мать Альберта дала. Она портнихой работает... Ой, неужели уже все готово?

— Не совсем. Наш корабль еще нужно оснастить парусами.

— А я уже выбрала для них самую лучшую материю... Смотри!

И Наташка протянула кусок черного бархата.

— Правда красиво? Из него мать Альберта одной артистке платье сшила.

— Кто же паруса делает из бархата? — рассмеялся я.— На них идет обыкновенная парусина. Вон у тебя как раз кусок.

Мы аккуратно нарезали паруса, прикрепили к мачтам и Наташка сказала:

— А самое главное забыли!

— Что?

— Каждый корабль имеет название, а наш нет.

— Правильно, — согласился я. — Ну и как же назовем?

— Можно я сама?

Я кивнул.

Наташка достала свои любимые фломастеры, на минутку задумалась и, высунув от напряжения кончик языка, большими печатными буквами вывела на борту: ФРИГАТ.

— Так корабли не называют, — возразил я. — И потом ты ошиблась. Нужно писать «фрегат».

— Но мы же хотели, чтобы у нас был настоящий фрегат, — не согласилась со мной Наташка. — И если он не будет так называться, никто об этом и не догадается. А что ошибка, теперь я всегда буду помнить, что слово фрегат — через «е» пишется... Пап, а пап, ты не будешь ругаться, если я одну вещь скажу? Давай наш фрегат отпустим. Может, он до самого Аральского моря доплывет...

Когда мы вышли из дома, оказывается, было уже совсем темно. Наташка шла чуть впереди и бережно прижимала к себе наш кораблик. Мы пересекли пустырь и спустились к арыку.

В нем отражалась луна и окрашивала медленную воду в серебристый цвет.

Наташка присела на корточки, осторожно спустила фрегат в воду.

— Ой, смотри, ветер! — удивилась она.

Неизвестно откуда вдруг появившийся ветерок растрепал Наташкины волосы, прошелестел в кустах ежевики, надул паруса нашего кораблика, и он, как натянутая струна, задрожал под Наташкиными пальцами.

— Счастливого пути! — сказала Наташка и разжала пальцы.

Фрегат секунду помедлил, словно прощаясь с нами, мгновенно набрал скорость и понесся по блестящей серебряной воде.

Мы стояли и смотрели ему вслед.

Ему предстояла долгая трудная дорога.

Из арыка, за парком культуры попасть в канал Бурджар, плыть по быстрому Чирчику, где всегда холодная вода и много водоворотов. И только потом будет большая река Сырдарья, которая через весь Узбекистан течет на север в Аральское море.



Алексей Яшин
(г. Тула)

КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ ИЗ ВОДОПРОВОДА
Историческое сказание от Гостомысла до
наших дней*



*Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет в душе видений,
И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождаться ль мне когда опять?
Или навек моя утрата
И вечно арфе не звучать?*

В. А. Жуковский

◆ История как матерая профессиональная содержанка: под кем почивает, тому и осанну воспевают своим подружкам — коллегам в *spa*-салонах, фитнесах разных, в ресторане на девешнике удачной товарки, что окрутила-таки своего толстосума, убедив придурка во всем, что не касается долларов и евро, что-де он у нее первый, а девственной плевры у нее с рождения не имелось. Бывают, дескать, такие *особенные* женщины. Слово *особенные* насторожило было папика, ибо припомнил, что в нынешнем словоречии особенными, политкорректности и толерантности ради, публично и изустно именуют клинических сумасшедших, половых извращенцев и вообще всех персонажей человеческой комедии с какими-либо недостатками... а может уже и достоинствами, коль скоро таковые заполнили телеэкраны. Но удачливая кандидатка в супруги инвалютного миллионера свела все к шутке, умело подольстив своему суверену, что и он по своей торгово-воровской части особенный везунчик: не счесть, сколько раз под следствием состоял, но каждое не то что конфузом и узилищем завершалось, а извинениями судейских и прокурорских чинов...

Так в присущей ему ассоциативной манере умственно рассуждал известный в университете и вообще в Тулуповске большой оригинал и заслуженный профессор Игорь Васильевич Скородумов, идучи поздним уже утром на *службу*. Числился он за биологическим факультетом, а почему именно на службу, не просто на работу шел? Он охотно при случае пояснял интересующимся: «Со времен первых университетов и театров на Руси только в отношении профессоров и артистов — на фоне всей остальной партикулярной, то есть невоенной и нечиновной, среды — употребляется определение «служит», а не «работает».

* Упаси бог подумать, что эта повесть — сатира в конкретный адрес! Только сугубая констатация того явления, что в наступившую эпоху глобализации писатели никому не нужны... даже самим себе. Вообще-то к 85-летию Союза писателей.

Рассуждал же Игорь Васильевич, к тому же главный редактор созданного им научного журнала «Феномены разума. XXI век», на историческую тему, шествуя теплым еще сентябрьским утром по тротуару главной улицы губернского города, по той обыденной причине, что, вынося вчерашним вечером мусорное ведро (его домашняя служба), узрел возле их дворовой помойки стопку школьных учебников и вообще книг для юношеского просвещения. Надо полагать, некий недоросль одолел-таки курс новомодной одиннадцатилетки и, не имея более младших возрастом братьев и сестер, удалил из квартиры тягостные материальные напоминания о годах мучений и скорбей о напрасно потраченном времени, оторванном от завлекательного общения с компьютером. Компом — по их словоизъяснению.

Игорь же Васильевич, как человек разносторонний по интересам, давно порывался ознакомиться с каким-либо историческим руководством, ныне издаваемом для средних учебных заведений. И — удача! Поверх неряшливых видом книжек в бумажно-картонных переплетах как раз, словно ожидая нового владельца, как дождливым или морозным днем дворовый кот, плача от голода, безнадежно ожидает добрую двуногую душу, что возьмет его на квартирный постой с гарантированной пайкой еды, лежал учебник отечественной истории для школьников второй ступени.

Отужинав чем бог послал на сиротское профессорское жалованье, Игорь Васильевич, предварительно, как истовый аккуратист, протерев учебник тряпкой, сбрызнутой дезинфицирующим простонародным одеколоном «Дипломат» — с лощеным молодым армянином на флаконовой наклейке, — прилег на диван... и уже до самого «отбоя» на сон в одиннадцать часов не выпускал книгу из рук. Даже кот, здесь уже речь идет о личном домашнем, забеспокоился: дескать, не захворал ли хозяин? Покурить всего три раза в отхожее место сходил, все с той же книжкой, на кухню с дежурными на вечерний аппетит бутербродами никакого внимания, самое настожаивающее — часто смеется ехидно, а чаще — баритонным хохотом. Еще кот, давно квартирующий здесь на правах полной автономии личности и свободы убеждений (*liberte, egalite, fraternite*), а потому досконально знающий внутренние порядки, приметил: пользуясь странным болезненным состоянием хозяина, хозяйке попустительствует, то есть смотрит она по телевизору ненавистную для первого передачу, в которой ражие молодые и косящие под таковых бабы вцепляются друг другу в крашенные волосы, дерутся-бьются за девяностолетнего актера с богатым киношным прошлым и нынешним банковским счетом. Экс-же-актер отстраненно смотрит на побоище немигающим старческим взором и тихо повторяет: «Раз нет интимной близости, то нет и брака».

◆ ...Как раз перед входом в свой университетский корпус Игорь Васильевич завершил свое умствование по части истории-проститутки. Не самой по себе, конечно, но в блудодействии сочинителей руководств по оной.

Не успел он, войдя в свой кабинетик, заварить чай и продолжить начатое вчера успешное доказательство — был он биофизиком с хорошим знанием математики — теоремы об экспоненциальном спадении качества самоосознания своего мышления у компьютерно-интернетовских «сидельцев», как, извинившись, что без предварительного звонка («Проходил мимо твоего корпуса и зашел наудачу»), Скородумова навестил давний знакомый с вычислительного факультета, матерый доцент Привалов. А знался он с добродушнейшим Григорием Анатольевичем еще с тех пор, когда Игорь Васильевич, защитив свою первую докторскую — по техническим наукам — диссертацию, покинул зашатавшееся в начальные «лихие девяностые» Конструкторское бюро «Меткость», ранее флагман отечественного оборонпрома, и устроился в университет на этот самый вычислительный факультет.

— Чайку за компанию?

— Очень даже не откажусь. И под чаек малую фляжку вроде как неподдельного коньячку захватил.

— О-о! Значит с серьезной темой, как говорят современные деловые люди, пришел...

— Не деловые так говорят, а бандюганы, Васильич. Я же пока с предложением к твоей милости прибыл.

...Под дальнейшее чаепитие и «легкий звон бокалов» — в нарушение университетского устава и вообще всего директивного уклада нынешней жизни — и «тема» из прозрачности намека обрела реальную суть:

— Понимаешь, Васильич, у нас на кафедре образовался аспирант...

— Тю-тю-тю, Анатольевич, ход твоей мысли уже уловил: сбегать молодца под мое научное руководство, да? Но у меня уже имеется джентльменский набор: десяток докторов защищенных и двадцать кандидатов. Причем, по пяти отраслям наук: от технических до медицинских; так что я и здесь оригинал большой — в части отраслей-то. Под второй бутылки в нашей славной рюмочной «Наливай-ка!» мне уже со смехом намекают насчет книги Гиннеса; говорят, по «инту» справлялись: вроде как с тремя-четырьмя отраслями фигурируют граждане и господа «вченные», но с пятью не встречаются... А раз такой набор имеется — для всяких отчетностей, премий и грантов,— то и мне докука с аспирантами, тем более нынешними охламонами и бездельниками, более не нужна. Других дел по горло: две серии монографий сочиняю, журнал опять же...

— Ты, Васильич,хвати-ка рюмаха и дослушай. Дело говорю.

— Парень-то как раз неординарный попался, как ты любишь цитировать кого-то умного: «С лица не общим выражением». Опять же кафедра по защите информации, куда меня сейчас по приказу о расформировании прежней, нашей еще с тобою, что конструированием ЭВМ занималась — не нужны уже в нашей стране умеющие проектировать вычислительную технику! — определили, совсем новая, этого самого «научного лица» не имеет, профессоров еще не настругали, так что даже формального руководителя по части аспирантуры не имеется. Но главное в другом. Я хотя и старинного закала *доцент с портфелем*, но журналы в университетской библиотеке по въевшейся привычке просматриваю, тем более номера твоих «Феноменов разума». И нюх меня на тематику еще никогда не подводил: ведь при твоём отвращении к интернету, даже в наукообразной его части, да еще тратить уйму времени на программирование, то есть самую черную и тупую работу... словом, разве не нужен тебе способный и трудолюбивый — не чета всем остальным нынешним! — парень, что будет за свой интерес работать на тебя, всю черную и монотонность на себя возьмет? А ты поставишь ему целью и задачами диссера доказательство или опытную проверку своих высоколобых идей... Да еще три года будешь от универа доплату за руководство получать; худо-бедно, на «Наливайку» будет хватать!

— Тпр-ру, охлонись, Григорий свет Анатольевич, сам стопку слабоподдельного в организм введи. Не скрываю: люди работающие мне нужны; таких и ранее подбирал, что составили мой «джентльменский набор». Но сейчас ведь таких упертых нет! И какой интерес вашему кафедральному аспиранту так корячиться — ведь я его на полном серьезе работать заставляю? Почему как не все сейчас: чуток наукообразить дипломную работу и — вперед к защите! Кадры даже с липовыми степенями нынче универу позарез нужны ведь. Какой-то совковый у вас аспирант...

— Давай по последней и суть раскрою. Никакой Володька не совковый, даже очень современный, то есть о будущем думает и все ходы, как шахматист, просчитывает. Родственник у него по матери в Москве если не первое-второе место, но где-то в руководящей пятерке кресло занимает в некоторой конторе — я даже не интересо-

вался в какой, меньше знаешь, крепче спишь,— занимающейся этой самой информационной защитой, в том числе шифровальным делом. Он-то, Володька, уже сейчас там на полставки во вспомогательной службе работает вахтовым методом, а родственник-протезист настропалил его: дескать, защитишь диссертацию на близкую к нашему профилю тему, так дам тебе стартовую должность замначальника отдела плюс служебную однушку в пределах часа езды от центра. Так как...

— Все понял. И заинтересовался. Подумаю всерьез и через тройку дней ответ дам. Скорее всего положительный.

— Уф-ф, Васильич, камень с души снял!

— Твой-то какой интерес?

— Чисто служебный: пока кафедра своих профессоров не понаделала, меня определили в ответственные за подготовку молодых кадров. И тебе всегда рад помочь по-дружески...

♦ К окончанию трудовня, лихо завершив доказательство, с использованием сложных математических соотношений, включая энтропию Реньи и формулу Фробениуса — Перрона, теоремы о резком поглупении нынешних *недолайкиных* — интернетчиков, Игорь Васильевич засобирался домой — прямо к свеже сваренному супругой борщу и пока еще доступной для профессорского оклада содержания жареной картошке с куриной грудкой. Хотя и не немец, но чистопородный русак, Игорь Васильевич был аккуратистом и не приступал к новому делу-докуке, не завершив предыдущего. То есть все прикидки и размышления по части чем занять образовавшегося аспиранта Володю он отложил, сразу после разговора с доцентом Приваловым, на завтрашний день. Но — человек полагает, а бог располагает.

Путь домой лежал между корпусами университета — студгородок с советских времен вольно раскинулся обочь главного проспекта Тулуповска почитай на три квартала,— а посредине этого пути расположилась рюмочная «Наливайка!». Правда, не совсем удачно расположилась: как-то само собой в последние годы правило не проносить стопку мимо рта вышло из исторической русской и советской обыденности, особенно в университетской среде. Студизусов отвлекли от этого святого дела круглосуточное оглушение интернетом и умеренная клубная спайсовая наркота. Молодые и среднестаршие преподы по принципу тусовки (у Петьки есть, а я чем хуже?) наскребли денег на автомобили — при нынешних, все ужесточающих строгостях по гаишной части еще сто раз подумаешь — опрокинуть пару-тройку стопок, если завтра за руль садиться? Матерые же, еще с советских либеральных времен, профессора и доценты опасались доносов и уличений даже в умеренном винопитии: боялись увольнения, что для них, более ничего в жизни, кроме талдычанья лекций, не умеющих делать, было смерти подобно. Вот она, глобализация с Запада: не надо и сухой закон объявлять!

...В планах Игоря Васильевича, тем более, что воспоминание о позднеутреннем дармовом коньячке испарилось, проходившего мимо гостеприимной «Наливайки», вовсе не мыслилось заскочить в рюмочную, но...

— Игорь Васильевич! Рад вас видеть,— шутейно раскинув руки для дружеского объятия, навстречу ему и как раз на траверзе «наливайкиной» двери шел Андрей Матвеевич Бурцев. Он же главный редактор местного литературного журнала «Срединная Россия», писатель-прозаик,— сколько же мы не виделись, дорогой профессор?

— А год с лишним после того, как вы посетили наши с Николаем Андреевичем «каминные четверги» в пригородном доме моего свояка, тестя брательника Виктора, Прокофьяча. Еще интересно вы рассказывали о тулуповских писателях...

— Как же, как в лицах помню ту замечательную беседу у камина: Николай Андреевич, старый морской волк Прокофьяч, его хлебосольная супруга Тихоновна и, разумеется, философский кот Мичман! Эх, хорошо тогда посидели-поговорили...

И как-то не сговариваясь, на автомате-автопилоте вошли они в дверь «Наливайки».

...На бывшей святой, потом советской благодущной, а ныне торгово-спекулятивной частнособственнической Руси самое разлюбезное для человека занятие — встретив давно не виданного знакомого, вволю с ним поговорить под бутылочку *этого самого*, ныне властью и официальным «общественным мнением» порицаемого. Уже профессорская супруга сняла со слабого разогревочного огня плиты свежесваренный борщ, а на картошку с обидевшейся и скукожившейся куриной грудкой и вовсе рукой махнула, а наши некогда случайные знакомцы, перейдя на дружеское «ты», все говорили и говорили в полупустой «Наливайке». Клиент по средам шел неторопко, как будто вспоминал среду советскую: отрезвляющий «партийный день»; четверг же был «рыбным», даже в простонародных распивочных на закуску выдавали запеченный в тесте хек по рупь-сорок килограмм (это то, что сейчас в телерекламе пышно именуют импортным словом «наггетсы»...).

Для завязки обсудив очередные инициативы партии и правительства об увеличении возраста доступа к алкоголю, табаку и пенсиям, а также заметив о всенародной, почти что холерической, любви народа к футболу, любимой игре Старика Хоттабыча, перешли к более серьезной теме, начатой еще полтора года тому назад у камина Прокофьяча: о потере современной художественной литературой читателя, полностью ударившегося либо в мелкое частнособственничество, а в массе своей — в сугубо биологическое выживание со все дорожающей «потребительской корзиной»... наполненной генномодифицированными овощами, пальмовым маслом и напичканной антибиотиками курятиной. Самое существенное, что по закону общесистемной обратной связи читательское обнуление скоренько свело к полному ничтожеству и класс пишущих. Исчезли уже ко второй капшпятилетке нового века и тысячелетия профессиональные писатели, а еще сохранившиеся любители — как стенгазетчики советской поры — все плоше и плоше сочиняют; в прозе — одни неумелые зарисовки, в поэзии — частушка или «про розы-морозы...».

— На носу, достопочтенный Игорь Васильевич, хотя и не круглый, но все же юбилей нашей областной писательской организации. Вот я и сочинил, естественно, для своего журнала, никто в городе и области не напечатает, нелицеприятную историю этой некогда крепкой, почти что писательски добротной, организации...

— Ну и славно, драгоценнейший и лироносный (уже по паре стопок приняли, добродушествовали) Андрей Матвеевич! Тиснешь в своей «Срединной России», чего здесь стесняться правду матку резать! Я в своем журнале, хотя бы и научном, для пользы дела и не такое пишу.

— Все то так, Игорь Васильевич, как говорили римляне, *bonorum sibi oppositorum fac melius*, то есть делай лучшее из предстоящих тебе благ, но сомнения одолевают: писатели суть народ обидчивый, соринку в чужом глазу за версту различат, а в свой адрес даже на похвалу морщатся, дескать, не «известный», а «известнейший»! Боюсь сонм врагов себе этой публикацией нажать... хотя с ними не особо общаюсь. Самостийный я человек. Тем более, что по отдельности письменники наши люди неплохие, душевные даже... порой.

— Ну-у, волков бояться — в лес не ходить. И мы алаверды по латыни: *fac bonum et omitte malum* — делай добро, избегая зла, то есть обойдись без имен, завуалируй, но так чтобы всем было все понятно. Как у дедушки Крылова, особенно у Салтыкова-Щедрина...

— Во-во, Игорь Васильевич, метко в цель наострил! Я как раз планирую первый номер журнала в следующем году двухсотпятидесятилетию Ивана Андреевича посвятить. А Михаил Евграфович и вовсе почти что наш тулуповский земляк! Сам знаешь, в низу проспекта что ни солидный дом дореволюционной постройки, так по

табличке памятной, а то и по две, в честь наших великих и выдающихся писателей! А на здании коммунально-строительного техникума, что рядом с Пушкинским сквером с его же бюстом, мраморная плита с указанием, что-де в таких-то годах Салтыков-Щедрин возглавлял в этом доме казенную палату, областное казначейство по-нынешнему значит. А такая должность соответствовала статскому генералу!

Кстати, Игорь Васильевич, свой знаменитый «Город Глупов», как утверждают литературоведы, Михаил Евграфович «списал» именно с Тулуповска; есть нам чем гордиться... И нигде он долго не задерживался со своим острым взглядом и еще более острым языком. Только обустроится в каком городе в генеральском чине, а его р-раз! И переводят в другой. Поскольку же собственно упущений по службе за ним не наблюдалось, то по русскому чиновному обычаю переводят с повышением в чине. Так и до вице-губернатора сначала в Рязани, потом в Твери! Самое интересное, когда в советское время к юбилею решили поставить ему памятник, то обкомы всех городов, где Салтыков служил, руками и ногами открещивались от такой символической чести! Чуть ли до сакрального «положить партбилет на стол» не доходило... хотя это уже перебор в слухах.



Матерый профессор, лауреат и орденосец обоих режимов — предыдущего и нынешнего, — поучает самого способного из нынешних своих аспирантов:

— Ты, Егор, парень умный и старательный. Диссертация у тебя идет хорошо. Несомненно, со временем из тебя получится достойный ученый-экономист. А экономика — это двигатель прогресса в наше время самых смелых реформ и гигантских национальных проектов...

— Василий Матвеевич, я что-нибудь не так делаю?

— В общем-то есть один нюанс. Как бы это... э-э, сейчас у нас патриотизм в фаворе, а ты все практические примеры для своих теорий прямо как по американскому учебнику «Макроэкономикс»: производство «кока-колы», лизинг оборудования для ее же изготовления, транспортная логистика для «пепси-колы»...

— Так ведь на самом деле у нас эти фирмы на рынке прохладительных напитков главенствуют?

— Ну, это всем понятно. Но нельзя ли для благозвучности на защите диссертации, оставив все цифры и выкладки, оперировать, например, напитком «Колокольчик», а?

Заулыбался умный Егор, а на защиту вышел с маркетингом кваса.

...Увы, уважаемый профессор, нет у меня, убогого, таланта по части характерных зверушек импровизировать. Увы, не получится — реалист я закоренелый, поздно переучиваться. Хотя идея твоя архизаманчива: «История писателей Тулуповского леса». Каково звучит? Наверде «Медведя на воеводстве» Михаила Евграфовича... Не-е, не осилю.

— Стоп! Изволь идти к стойке за добавочной четвертинкой коньяка — мысль у меня мелькнула; озарило, словом, как сейчас на новорусском языке говорят: пазлы сошлись! И мой интерес с твоим объединился.

♦ В пятницу пополудни к профессору Скородумову пришел востребованный аспирант-шифровальщик Володька. В телефонном разговоре еще поутру с аспирантом в гости набивался и сосватавший его доцент Привалов. «С благодарностью от кафедры», — намекнул Григорий Анатольевич. Но Игорь Васильевич ответил тому обоснованным отказом: «Перенесем благодарность на морковкины заговенья, то есть на потом. Сегодня у нас на факультете день бдительности: две девицы востроносые из охраны труда с утра шныряют по этажам, в кабинеты и аудитории то и дело заглядывают, мужиков со всякими глупыми вопросами в коридорах останавливают, чуть не целоваться лезут — принимают. Как советские парторги по понедельникам со своей паствой... Ищут курящих в корпусе и которые с похмелья... Сам понимаешь, Анатольич, как говорится: «Не до того, Федя, не до того».

С понятливым, что профессор по одному внешнему виду давно научился определять, аспирантом он долго лясать не точил.

— Дескать, молодой человек империи новороссийской, я и так три дня не разгибаясь исписывал для тебе — компьютером я не пользуюсь — под полусотню листов бумаги. Поскольку ваше поколение недолайкиных написанный от руки текст не воспринимает, то, будь добр, покорпи и переведи его для себя в печатный. Тема — вот она, вначале, сверху обозначена — новое слово в части защиты информации и шифровального дела, что и требуется для твоей блестящей карьеры. Далее: развернутый план на все твои аспирантские года упражнений: со схемами, алгоритмами для программирования, базовыми логическими и математическими соотношениями, списком литературы по различным разделам информатики и тех же логики с математикой, что ты обязан знать от корки до корки. Мои книги из списка возьмешь в университетской библиотеке или в *своем* интернете найдешь: они на многих сайтах помещены. Спрашивать буду строго, но отечески, с пониманием — человек сам себе светлое, сейчас в долларах и еврах, будущее кует. До конца текущего года, а это почти четыре месяца, пройдешь, как у меня с вашим братом принято, курс молодого бойца. Согласно плану диссертации, у тебя значится небольшой параграф в заключении вводной главы: практический пример иносказательного перевода обычного разговорного, например, литературного, текста в более архаичную форму — так называемое спектральное шифрование; термин мой, в *инете своем* не ищи. Я все расписал, в том числе постановку задачи на составление программы, вот на этих, отдельно прошитых степлером — господи, во что русский язык класс-гегемон превратил! — листах. Для конкретики примера возьмешь сказки Салтыкова-Щедрина; надеюсь, и сейчас в школе их упоминают: ну-у про премудрого пискаря, медведей-воевод и другие. По поисковику найдешь в *своем* интернете их оцифровку и по программе, которую составишь вот по этой постановке задачи, составишь частотный словарь языка Михаила Евграфовича в части его сказок. Исходный текст для иносказательного перевода здесь, — усмехнувшийся Игорь Васильевич протянул аспиранту флешку писателя Бурцева с текстом истории Тулуповской писательской организации. — А на этом листе я перечислил персонажей первичного текста в сопоставлении с лесным и домашним зверем. Все прочие пояснения я тебе написал. Сейчас иди в отдел аспирантуры, оформ-

ляй мое руководство, утверждай план диссера и вообще скоренько — из сердца вон, с глаз долой — всю бюрократию завершай и — к делу!

Аспирант Володька чуть помялся и начал благодарить...

— Что? Отец, говоришь, при умеренных капиталах? Это замечательно, но я человек со странностями, как всему университету известно, с аспирантов денег не беру. Мне достаточно официальной оплаты за руководство, а главное, нужны твои результаты: я их ведь под свою новую теорию применю. Конечно, со ссылкой на Владимира-свет-такого-то, оказавшего неоценимую помощь и так далее. А главное, сейчас времена архистрогие по мелочным денежным делам настали, как говорится, алтын-ного вора вешают, а полтинного чествуют!

Обескураженный будущий шифровальщик осмелел...

— Да? Дед твой, говоришь, для домашнего пользования самогон не хуже фирменной виски гонит? И на клюкве настаивает? Это интересно... в целях научной де-густации, разумеется. И под всякие статьи не подпадает. Что ж, заноси перед праздни-ками — всеми советскими, включая Сталинскую конституцию, и, как у Райкина, Парижскую коммуну и пасху. О датах справься в инте. Ладно, свободен. Сюда часто не шастай, не отвлекай меня. Используй изобретение америкоса Белла, телефон то бишь. Потом, я все архиподробно тебе расписал, особенно до конца этого года. При-вет деду-естествоиспытателю!

...Возвращая в ностальгической «Наливайке» — точно в оговоренный срок, за день до бой курантов, президента и оливье — бытописателю нравов Бурцеву его флешку, дополненную «переводом на салтыково-щедринский», Игорь Васильевич заметил:

— А знаешь, Андрей Матвеевич, что меня в тогдашней нашей сентябрьской бе-седе за этим же столиком натолкнуло на мысль, оказавшуюся столь полезной для тебя, меня и умного аспиранта Володьки, действительно, отменный клюквенный са-могон деда которого мы сейчас из-под полы пьем?

— Теряюсь в догадках, дражайший Игорь Васильевич. А самогон отменнейший! Всякие там «Джонни Уокеры» и «Белые лошади» — помои по сравнению. Словом, умелец из гуц трудового народа. Извиняюсь, по мозгам оный сильно шибает. Так что же подвинуло на архиполезную для всех нас мысль?

— А имя автора «Архипелага ГУЛАГ»а, что невзначай промелькнуло у тебя. Дай, конечно, бог ему успокоиться в ином мире от своего оголтелого антисоветизма, но мне-то вспомнилось, что был он одним из инициаторов развернутой на Западе кам-пании клеветы на нашего великого Шолохова; мол, Михаил Александрович незаслу-женно получил Нобелевскую премию, поскольку «списал» «Тихий Дон» с рукописи расстрелянного в застенках ОГПУ-ВЧК белогвардейского офицера — писателя... Крюкова или Крючкова? Не помню. Александр Исаевич даже толстенную книгу «Бодался теленок с дубом» на эту тему сочинил... Как и «Архипелаг» *сочинил*.

Западняки не русские, нет бы сплунуть и растереть, всю чушь всерьез принима-ют, вот и поручили Шведской королевской академии провести компьютерный тек-стологический анализ — сопоставление текстов «Тихого Дона» и всех других произ-ведений нашего великого писателя. Что тамошние, не кормящиеся «от Кремля», ака-демии и сделали. К огорчению западных хулителей и лично Солженицына (но он не успокоился!) Шолохов оказался Шолоховым. Разливай «клюквенную»!

...Номер своего журнала с «Историей писарей Тулуповского леса» Бурцев успел-таки издать к некруглому юбилею писательской организации, предпослав ей эпигра-фом слова почитаемого им русского философа-космиста Бердяева: *«Мне всегда хо-телось, чтобы оголенная правда была наконец обнаружена»*. Вот она, история.

♦ «История, именуемая до напечатания пространных сочинений на указанную кем надо першпективу гг. Карамзиным и Костомаровым «российской гишторией»,

есть наука умственная и полезная для воспитания юношества, но зане своеобразная. Если исторического сочинителя в его кропотливых упражнениях подстегивает, яко ямщик коней разлетевшейся тройки, торопясь домчаться до первого после городской заставы трактира или кабака, алчба правдивости описания, но соотносенная с указаниями цензурного ведомства при Свщ. Синоде, то читателя томов, набранных мелким шрифтом, более всего удерживает в порче зрения при ознакомлении с написанным сожаление о потраченных деньгах — в серебре и даже в крупных ассигнациях.

И не то, что писчебумажное искусство неверно Скрижали Истории в оттисках типографских литер представляет, но во всяком благоустроенном людском обществе, как рассуждает немецкий смутьян и сицилист Карла Маркс, обозначаются внутренние и внешние сущности противопоставлений человеческих устремлений. Исторический сочинитель все правды, согласованной с кем надо, жаждет. Цензор, особенно если он по синодской принадлежности, суть сторонник благочиния и отсутствия в написанных текстах всяческих резких осуждений. Его резонный девиз по древней истории: «Что было, то сбылось и не нам о том судить». По новейшей: «Улита едет, когда-то будет».

Читатель же, держа кукиш в кармане камзола из недурственной фабрикации аглицкого сукна — это где овцы землепашца съели, — все более сокрушается о потраченном серебре и ассигнациях, особенно тех, что с портретами исторических и нынешних царей... Разумеется, его и приблизительная, дозволенная кем надо правда Скрижалей Истории интересует, но огорчает все тот же губительный для глаз мелкий шрифт, чуть ли не петит и нонпарель, хотя и понимает сочинитель исторических трактатов: очень много и многоречиво хочется сказать о Скрижальных, но кто тогда будет покупать в книжных лавках издательств А. Ф. Маркса, Кушнерова и Ко, Саблина, братьев Сабашниковых и прочих огромное число исторических томов с крупным, как в синодальном печатании Библии, шрифтом? Словом, все по Марксу — не издателю А. Ф., но Карле: единство борьбы и противоречий, что он подсмотрел в диалектике немца же Гегеля...

Но в современном благоустройстве жизненных стихий, невзирая на Марксово противопоставление желаний и чаяний историка, цензора и читателя, манкировать знанием Скрижалей недопустимо. Не то что кварталный, тем более пристав и — бери куда выше! — исправник уездный за незнание истории распорядятся насчет съезжей и дальнейшего правезу. Нет, конечно, давно не в дикости и самодурстве наша жизненная тропа пролегает, хотя бы и петляя часто, как заяц следы свои от охотника-лукаша замечает. Сейчас благонадежность обывателя рука об руку с начальственной снисходительностью, как шерочка с машерочкой, по прешпекту шествуют к туманной светлой будущности. Соответственно такому регламенту, и знание истории почти что обязательно. На худой конец — рекомендательно. Опять же, повторимся, не от кварталных, приставов и их высокородий исправников. *Arbitrium proprium*, как из латинских грамматик гимназисты, даже без упраздненных ныне воспитательных розог, усваивают: сиречь по собственному усмотрению и выбору.

И образовательные департаменты в целях удаления юношества от неблагонадежных компаний, начиная от церковно-приходских двухклассных школ и далее по восходящей до университетов, устремляют малосмышленные еще головы к пользе знания истории... или хотя бы прилежание в изучении оной, если не надеются на худую память школяров и студюзусов. Каждый да обретет положенное ему, говоря от Писания.

...И еще одна мода в наше благожелательное и стремящееся к просвещению время объявилась: даже если волею судеб и иных радений на кого чин большой наложен, все одно, будь-стать добр в календарно обозначенный срок, даже если на каникуляциях в заморском роздыхе обретаешься, явись во время оно в свой департамент

и ответь проверочный урок по истории, для надежности и вящей вразумительности сноровки к занимаемой должности, совмещенной с наукой географической. Наверное, чтобы в твердом уме держал постоянно: где ты сам-один сейчас творишь малую историю, в каком пространстве: лесистом, промышленном, степном, железоделательном, или вообще с горюч-камня, светильного фонарного газа, керосиновых промыслов заводчика Нобеля,— себе и отечеству пользу доставляешь? Никак без того нельзя, чтобы даже высшие чины самых первых классов, согласно табели о рангах, не помышляли об истории: откуда есть и пошла родная земля.

Правильно же сочиненная ближняя история, вкупе с целеустремленно переписанными набело летописями и глухими преданиями старины глубокой, хотя бы сочинитель и сам в молодости застал эти времена и видел их воочию, привносит в радостную действительность радикальное и повсеместное отрезвление от якобы сложившихся издавна в мыслях людей пагубных настроений и побуждений ко всякой необдуманности не то что поступков, но даже мимолетных намеков действовать не по пристойности. Словом, холостого сватом не посылают...

Все тот же настырный немец Карла Маркс с сотоварищем своим Федором Энгельсом всю историю человечества по календарным табелям расписали: когда мы от образины-облезьяны вылупились, когда началась добровольческая деятельность по распространению здравых мыслей в обществе... а потом общество это отрезвилось и произошел процесс поголовного освобождения от излишних мыслей, чувствований, а теперь и совести. Еще немчура эта настаивает на разделении труда мысленно взрослого человечества. Продолжая их перспективу, и мы можем безнаказанно и вольнолюбиво рассуждать о разделении оброчных и иных тягот и выделении сообществ людей творящих Историю и описывающих это творчество, то есть появлению в подлунном нашем мире *класса* писателей. В свою очередь, и этот класс постигло дальнейшее разделение на сугубо исторических сочинителей, восторженных поэтов-пиитов (именно в их среде много любителей зеленого змия), суровых прозаических изъяснителей и так далее. Словом, всех тех, кто за хлебом насущным притерся к одной из муз античного пантеона, что обитали возле вдохновляющих источников Иппокрена и Кастальского ключа в Дельфах: Эрате, Эвтерпе, Каллиопе, Клио, Мельпомене и Талии.

Писатели ничем не хуже всех остальных земных постояльцев, потому и они с самого своего начала резонно заявили о необходимости наличия собственной истории, понятно дело, полагая занести свои имена на ее сверкающие Скрижали. Ничто человеческое писателям не чуждо. Поначалу в обществе такая резонность представлялась тускленькой и малосерьезной. Но на то они и сочинители, умеющие этаким изворотливым умом вползая в человеческие души, добрались куда надо во властных верхах и получили там — дескать, уймись теперь и больше не приставай! — благословение: пишите о себе что хотите, только особо не либеральничайте и благочиния хоть для приличия придерживайтесь.

И пошла, поехала писать губерния! От общих, мировых и отдельных царств-государств, писательских историй, спускаясь все ниже и ниже по географической лестнице, от царств к наместничествам и генерал-губернаторствам, далее к просто губерниям и областям казачьих войск на окраинах, потом к уездам, отдельным городам и местечкам, а затем и вовсе к волостям, создавались и до бесконечности дробились истории возникновения, процветания и, увы! — угасания местных Кастальских ключей и окормляющих провинциальных сочинителей муз. *Иносказательно*, чтобы не возвеличить слишком одних и не умалить ненароком дарований других сочинителей, придадим литерному тиснению краткую историю тулуповских писателей.

♦ «Русский мужик долго запрягает, зато потом быстро скачет»,— сказал опять-таки немец, остряк Бисмарк. Но в написании всяческих историй поспешность непо-

требна. Здесь ближе к истине французы с их *laisser passer, laisser faire*, то есть тише едешь, дальше будешь. Но русские эту присказку переводят еще более вразумительно, навроде как «дурак на дураке сидит и дураком погоняет». Не то чтобы история писарей Тулуповского леса прямо-таки пестрит этими малопочтенными господами... нет, как и в других лесах окрест и до границ леса вообще, до которых во все стороны света тридцать три дня скачи и не доскачешься, все в соотношении со статистическими подсчетами земских управ.

Также и мы начнем с некоторой древности, перелистывая омшелые и запыленные своды летописей, что, почитай, с ветхозаветных времен дятлы на древесной коре трудолюбиво записывали своими клювами. С появлением же книгопечатания и первых губернских типографий, разрешенных великими ревнителями грамотности Магницким и адмиралом Шишковым с его обществом бесед любителей русского слова, дятловы клювописания были переведены в литерные наборы и оттиснуты на бумажных листах *инфолио*, затем переплетенных в тисненую кожу, содранную за недоимки с различной лесной сволочи и отданы для сохранения и прочтения интересующимся древней лесной историей в публичную библиотеку, учрежденную на паях просвещенным тулуповским купечеством.

Вот из этих летописных томов мы и почерпнули знание оно о начале писарства в Тулуповском лесу, обитатели которого — разношерстная сволочь, платящие налоги обыватели и нарочито просвещенные звери — исстари гордятся, что их губернский центр, это как пень посреди округлой лесной поляны, даже на два года старше столицы *Нашего леса!* Такую дозволенную официально уверенность кроты-краеведы питают из обнаруженной в одном из томов свода летописей Тулуповского леса, в которой литерно оттиснутая на нетлеющей веленовой бумаге с водяными знаками фабрики купца Мясоедова дата первого объявления в Истории оной щабобы была решительно перечеркнута, а поверх явно блудливой рукой гимназиста III класса ныне выцветшими железисто-галлусовыми чернилами начертана цифирь на три сотни лет старше... В полном административном восторге управа Тулуповского леса в близкие к нынешним времена, когда вошло в популярность «считаться чинами», и объявила повселесно, даже до немых обитателей вод довела через урядников-головлей, полагать датой первого упоминания их леса на Скрижалях Истории рукописание дотошного, явно из начинающих нигилистов, гимназиста...

Начальное писарство в темные и дремучие времена по тысячелетнему обычаю *Нашего леса* сводилось к доносительству по закону, намного позднее опубликованному ученым англичанином Дарвиным: борьба всех против всех. До изобретения писчебумажного промысла подметные письма рукописались на берестовой коре, благо этих веселых видом деревьев в Тулуповском лесу произрастало превеликое множество. Доносы по начальствующей у зверья части начинались всегда с преамбулы: «Ваше степенство, вы отцы наши, мы дети неразумные ваши...» Затем следовал собственно сутяжный навет, а завершалось настоятельной просьбишкой «взыскать с тяглового Барана в его, Волка, пользу недоимку в частном расчете в размере семнадцати рябчиков...»

Надо пояснить, что рябчик являлся единообразной лесной денежной единицей. Причем даже Филин, на что уж неисправимо глупая птица, понимал: расплачиваются в лесу не собственно живыми или придушенными в силках, замороженными на льду в гостинодворских погребках рябчиками, но их нарицательными именами-званиями, отчеканенными на полушках, грошах, копейках, серебряной мелочи и — козыряй куда выше! — вплоть до крестовиков, полуимпералов и ассигнаций «сашенек», «петруш» и «катенек». Но общее число этих *кутил*, как в лесу называют деньги, всегда в точности приведено к одному знаменателю: числу живехоньких и здоровых рябчиков, что, не ведая о своем высоком предопределении, прохлаждаются себе в северных лесах.



Пришел местный композитор Нотострочицкий Аким Стронгинович в департамент культуры областной администрации: может какие заказы имеются, а то совсем обнищал, даже музы, не говоря о земных женищинах, перестали его посещать. Принял его, правда, в коридоре, на ходу, не заводя в кабинет, чиновник по музыкально-хоровому разряду Тертуллианов Акинфий Амосович:

— Есть, дорогой вы наш Аким Стронгинович, заказ на музыкальное оформление к дню города; надобно спешно, в оставшуюся неделю сочинить пяток бравых маршей. Оплата, увы, по расценкам детского музыкального творчества. Сами понимаете, по культурной программе все выделенные средства ушли на перепрофилирование бывшего кинотеатра в досуговый центр.

— Вы что, Акинфий Амосович, издеваетесь? — Я про оплату и сроки.

— А что, других заказчиков у нас в городе вы не найдете, а сроки... Будьте проще. Возьмите забытые советские марши и скоренько переанжируйте их под уже готовые тексточки поэта Демьяна Омшанникова, кстати, вашего соседа по дому. И ничего здесь зазорного нет. Вот, например, некто известный в Гражданскую войну, проживая в Ростове-на-Дону, где власть менялась раз в месяц, всегда про запас имел две аранжировки под схожие тексты: одну для генерала Миллера, а для заменившего его Буденного под новый вариант текста всего-то три доминанты в нотах менял. А многие марши 30—40-х годов очень даже напоминают марши Третьего Рейха. Так-то!

Подумал чистоплюй Нотострочицкий и отказался. Совсем забыли его губернские Музы, а из женищин только судебная приставша стала приходить — описывать имущество за долги по квартплате и электричеству.

Полтыщи с солидным гаком лет — от указанной безымянным гимназистом даты записи на Скрижалях — писари Тулуповского леса на этих самых скрижалях ничего путного не оставили. Доносы на бересте выцвели, скукожились в присутственных местах и по мере надобности пускались на растопку печей в морозные зимы. Пергамент стоил невероятных купил, да и новомодная бумага не в один рябчик обходилась... Так вольнолюбивое писарское дело в лесу и завяло, не успев распусться. Но

по простовости указанных лет и в тулуповскую чащобу долетели отголоски новых веяний по части грамотности и вообще дозволенного кем надо просвещения. Правила тогда *Нашим лесом* восприбывшая из Неметчинской дубравы царица, воспылавшая приязнью к просвещению. В губернском центре Тулуповского леса учредили типографию с добротным набором тискающих на бумагу литер, начали издавать публицические куранты «За родную трущобу». К курантам начали подтягиваться и проснувшиеся от вековой спячки писари. Их власти к курантам и типографии подпускали строго в соотношении с их статскими чинами, предупредительно наущая не допускать в своих сочинительствах вольтерьянства и масонства, занесенных из Галльского леса.

К великому огорчительству, на писарские Скрижали в тот век из Тулуповского леса попал всего лишь один Бобер, что по приказу царицы возводил в болотных окрестностях хоромную берлогу для ее незаконнорожденного дитяти — подальше от царского дворца и всего лесного светского бомонда. Болотный тот Бобер уникамом оказался: многоярусную плотину обочь хоромной берлоги соорудил, на изведенной площади прежде дикого леса парк по аглицкому манеру разбил; слыл аж до самой столицы *Нашего леса* болотный Бобер по агрономической части, но хорошо и грамоте разумел, сочинил в целиковых двух пудовых томах личное свое жизнеописание, которое и в столице получило замечательные референции от самых высоких писарских чинов, что в казинетовых и плисовых вицмундирах с бриллиантовыми анненскими звездами щеголяли. И вовсе привел Бобер в пристойное изумление всех статских и военных генералов, университетских академиков и профессоров своими начинаниями в лечении от всевозможных хворей елестричеством, изготовив подсобные для этого богоугодного деяния елестрические махины. В родному лесу обыватели и всякая чащобная сволочь слухи о том друг дружке сплетками передавали: дескать, Бобер-то наш единой елестрической искрой всю хворобную соплю из носа вышибает!

Но... на писарских и иных Скрижaliaх так один Бобер и укрепился; иных тулуповцев близко к ним не подпустили в тот просветительский век. А все отчего? — Оттого, что, невзирая на объявленное устремительство к благоустройству лесных чащоб и всех буреломных завалов, дороги от тулуповских застав до столицы с избытком типографий и курантов, в числе которых и специальные писарские имелись, содержались в крайней степени неудовлетворительными. Опять же писарям, по их легкомысленному статскому рангу, прогонных рябчиков на проезд тройками с подставой губернским казначейством не полагалось. А как на Скрижaliaх зацепиться, ежели не тискаешь свое сочинительство в толстых столичных курантах? Признаться же в отсутствии наличия способностей и талантов лесная звериная гордыня супротивничала.

Другая же причина та, что исстари тулуповцы, полагая за баловство всякие иные занятия, тем паче изведение дорогой бумаги на туманное сочинительство, все повально и подушно занимались от казны железодельным мастерством. Вся лесная челядь постукивала от зари до зари молоточками. Вот идет писарь местный в поисках сюжета для своего малохлебного сочинительства и видит такого мастерового енота или какого другого зверя. Спрашивает: «Чего, малопочтенный, творишь?» — «Дело творю». — «Да ну-у?» — «Вот те и ну, котёлки гну! Погну-погну, еще найду. А хочешь сюжету — к целовальнику веди для разговору...» Но нет у нищего писаря ни рябчика за душой. А без сюжета, понятно дело, к сочинительству даже и не приступай!

Скверно и уныло для тулуповских писарей завершился административно возведенный век просвещения.

♦ Следующее столетие началось в сиянии внешних блестящих злодейств и кровопролитиев, попавших на самые высоты Скрижалей Истории: воинственный корсиканский Волк, завладевший Галльским лесом, от природных натуральных, а потому и

своеобычных, злодейств прокормления сильного слабым, в мании величия начал попусту терзать все окрестные леса и даже до столицы *Нашего леса* добрался. При всем том косил Волк под либералиста вольтерьянского пошибу, однако в *Нашем лесу* опасался дать волю лесной сволочи и иным обывателям, за что те, крепко забидившись, взяли его в дреколье, топоры и вилы. А команду над ними принял умный и храбрый Барсук, потерявший еще ранее один глаз в сражениях, заманивший Волка в свою нору и выпустивший на него гончих стаю со словами: «Ты сер, а я, приятель, сед. И волчью вашу я натуру знаю. Поэтому обычай у меня такой: с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой!»

Как то заведено в писарской среде, блеск кровопролитиев воодушевляет на сочинение эпических поэм, многомудрых романов и исторических легенд. Вот в такой-то ажитации писарство Тулуповского леса взлетело на горние вершины Скрижалей благодаря проживавшему там Льву — не по табельной должности, каковая за ним вовсе ничтожной записана была, но по величию его писарского умения и данному при рождении таланту. Сам он в сражениях умного и храброго Барсука супротив корсиканского Волка участия не имел, поскольку еще не появился тогда на свет, но, спустя полсотни лет, сочинил в четырех увесистых томах такое величественное жизнеописание тех героических кровопролитиев, что на века вперед и по всему лесному миру сам елико прославился и даже отблеск вершинных Скрижалей наложил на писарство Тулуповского леса. Жил-здоровствовал тот Великий Лев долго, сочинил он под девяносто томов многомудрых житий и наставлений, но из мира ушел не парадно для своей значимости: не то что поругался со своей хозяйкой и многочисленным потомством, что жило на писарские рябчики за его сочинительство, но очень обеспокоился за моральную убогость всех обывателей и — особенно — управителей лесного мира. Тайно покинул родовую свою пещеру, в дороге расхворался и без должного ухода отдал богу душу.

...В наступившем после злодейств и кровопролитиев, учиненных корсиканским Волком, порядке и благоустройстве *Нашего леса* писарство, по преимуществу обходя стороной Тулуповский лес, в невиданных дотолем эмпиреях устремленно возросло в столичных и университетских центрах. Дабы в своих упражнениях восторженные писари не отходили от наступившего благочиния и не подпускали в своих рукописаниях, далее оттиснутых литерными на бумаге фабрикации купца Мясоедова, излишних надежд, а также вольтерьянства и масонства, особая комиссия под водительством адмирала и образовательного министра Шишкова ввела в регламент писарства, в дополнение к прежнему «вы отцы наши, мы дети неразумные ваши», словесное узаконение: «Самодержавие, православие, народ», — призывая мастеровых гусяного пера, зловредно склоняющихся по своей подлой мыслительной сущности к бедствиям, нищете и угнетенности всей лесной сволочи и прочих обывателей, к аккуратности и выдержанности в излагаемых чувствованиях. Негласно, то есть без статей законоуложений и наставлений всем чинам от урядников и квартальных до уездных исправников и городских полицмейстеров, писарям рекомендовалось в своих рассуждениях о ничтожном положении тяглового зверья постоянно держать в своих головах (мол, един в уме держим, а другую цифирь грифелем на аспидную доску заносим...) вечную и неустаревающую в *Нашем лесу* руководящую присказку: дескать, царь-батюшка дал всему населению леса жалованную грамоту, но злые бояре-чиновники ее перехватили и неведомо где глыбко в землю зарыли... Присказка эта ведет свой род от Гостомысла и братьев Рюриков, и продолжению того рода никто не препятствует. На этот счет в том же описываемом веке благоустройства и регламента один признанный столичный писарь съязвил: «Вот придет барин, барин нас рассудит!»

Правда, пуцая в обращение и для вящего руководства эту нетленную присказку,

власть придержащие уточняли: обличение злыдней-чиновников ограничивать сверху, согласно табели о рангах, чином коллежского асессора, то есть статского майора. А выше — нут-ка!

Но здесь ушел в отставку (пора, мол, на пенсию — в сенат!) министр-адмирал Шишков, так что писари во множестве распустились: во множестве — потому что грамотность лесных жителей, особенно в столицах и университетских центрах, следуя общему прогрессированию цивилизации и культуры в мире, усилилась. Появились на смену вольтерьянцам и масонам нигилисты и сицилисты. Особенно из поповских детей, то бишь разночинцев, персон по родовой памяти хватких, мол, хрен возьмешь с тарелки деньги у попа! И пошло, и поехало — впереди фельдъегерских троек помчались нигилисты и сицилисты!

Не минуло сие Тулуповский лес, где доселе великий Лев в гордом своем одиночестве изрекал на весь мир истины добра и самосовершенствования. Хотя и не первостатейного писарского ряда-табели, но замеченные общественностью *Нашего леса*, объявились, числом два, свои обличители, со склонением скорее к сицилизму, нежели к нигилизму. Поскольку они носили одинаковые прозвища, ибо вышли с разницей в несколько лет из Успенского урочища Тулуповского леса, и оба являлись склонными к сарказму енотами, то их и посейчас полагают родственными братьями. Но не так это вовсе: даже в кумовьях не состояли. Один славу поимел от обличения тулуповских мастеровых, которые все котёлки гнули себе и гнули; другой же по крестьянской части обидное для власти высказывал. Первый крепко дотянулся до третьего яруса писарских Скрижалей, второй еле за четвертый ухватился... Но и то слава Тулуповскому лесу, хотя в водных его займищах не одни раки водились, но и рыба по ихнему регламенту присутствовала.

Ближе к окончанию этого, не очень-то лавроносного — исключая, разумеется, Великого Льва,— для писарей Тулуповского леса века объявился в оном сочинитель не без искры божией, легальный сицилист по общественным своим убеждениям, к тому же пользовавшийся тулуповских обывателей по знахарской, медикусной части. Прожил он долго, до середины века последующего. Также обозначился на ярусах Скрижалей своими описаниями медикусной практики в Тулуповском лесу, жизни и творений самых великих писарей *Нашего леса*, а еще переводом на принятый в нем изустный и письменный язык сочинений древнейшего писаря-поэта далекого, за тремя морями, Эллинского горнолесья.

...Прошедший век для всех писарей как собственно *Нашего*, так и в частности (и в малой масштабности) Тулуповского лесов ознаменовался не только тем, что писари все о конституционных свободах болтали, но более значительное случилось: впервые с дремучих первобытно-лесных времен в столетии этом писарство получило административно и пачпортно утвержденный статус не любительских упражнений, но сугубой профессии. Хотя бы и без включения в табель о рангах даже в малых чинах «почетных граждан», то есть от коллежского регистратора до десятого класса, а также получения присвоенного оклада содержания в четко обозначенном числе рябчиков. Прокорм им и прогонные до столичных и университетских центров с готовыми для печатания творениями, подъемные для устройства своих берлог, пещер и дупел шли токмо от тисканья в публицистических ведомостях и особенно в толстых писарских курантах и печатания целиковых книг и собраний сочинительств в типографских заведениях Саблина, А. Ф. Маркса, Кушнерова и Ко, братьев Сабашниковых — для последующей продажи знающим грамоте обывателям и даже тем из лесной сволочи, что обучились в двухклассных церковно-приходских школах.

Коль скоро писарь пописывает, читатель почитывает, а оный за чепуховину «без идей и направления» рябчики свои в книжную лавку не понесет, то и приобретенные

воскормляющую их профессию писари посерьезнели умственно, хорошо правописанием по учебнику «Пространной русской грамматики» Николая Ивановича Греча, что с другом своим Фаддеем Венекдитовичем Булгариным («за что кукушка хвалит петуха? — За то, что тот кукушку хвалит...») толстые писарские куранты «Сын отечества» издавал, овладели, гимназии и даже университеты пооканчивали, сочинять приобькли с душевным трепетом к различным звериным чувствованиям, с лавированием (чтобы через цензора проскочить в печатание) между сочувствием обездоленной лесной сволочи и обывателю и обличением — не выше чином коллежского асессора, как было заведено — власть имущих и придержащих. И если утверждали вольнолюбиво, что «в нашей лесной глухомани невинный за виноватого как раз сойдет», то явственность такого невернопопданнического утверждения приглушали рассуждениями о малой пользе «лишних мыслей, совести и чувств».

«Что же попишешь,— горестно рассуждали писари в свободное от сочинительства время в узком кругу,— необходимость есть жестокий учитель!»

...Но в целом поголовный переход писарей в прошедшем веке от шутейного любительства их тезоименитых предшественников к обретению одобряемого общественностью рода полезных занятий, всем на пользу пошел. Писари разохотились творить разумное, доброе, вечное, руководствуясь заученным в гимназические годы латинским девизом *quaere perfectionem quantum potes*, что значит стремиться к совершенству, насколько это тебе по силам... да еще толику таланта имея. И такого в сумме всего им написанного натворили, что весь прошедший век во всемирном растительстве был поименован «веком писарства *Нашего леса*».

И лесному народу, коль скоро число грамотных, ввиду успехов министерства просвещения в открытии народных училищ, постоянно возрастало, почитать книги и куранты все больше по нраву приходилось. Ведь все податное и прокормное тягло не выработаешь, всю «злодейку с зеленой наклейкой» не выхлебаешь в кабаках и на вынос? К тому же у одного норма ведро, а у иного и вовсе шкалик*, с которого уши выше лба не вырастут от прилива к оным разгоряченной крови и мозг в голове не выветрится, но обостряется чувство всеобщей справедливости, которое настоятельно требует молчаливого собеседника: чтобы выговориться не мешал, но всячески поддакивал. А в идеале такой собеседник — с чувством написанная книга или хлесткие подметные статейки в курантах, оттиснутых на желтой бумаге.

...Вот таким своеобразным манером писари и подвигли вкупе с сицилистами и масонами лесной народ к бунтам начала века следующего. Была в этом деле и толика усилий писарей Тулуповского леса, но совсем малая... опять же не считая Великого Льва.

♦ Царь зверей *Нашего леса* и губернские Ока Царевы заблагодушествовали к началу нового века, а разевшиеся на казенном и поборном харче исправники, квартальные и урядники не уследили за деятельностью внутренних, включая писарей, потрясателей основ, подрывателей устоев с их подлыми мыслями, воспоследовавшими от Марксова злопахательного учения о накоплении и распределении богатств. Но главное — лбом стену не прошибешь — не в их силах и усердии было воспрепятствовать врагу внешнему, супреждь всего коварному Аглицкому безлесью, которое хитро втравило *Наш лес*, аки покорную окрику пастуха овечку невинную, сначала в воинское сражение с Империей сакуровых островов, а затем и вовсе в многолетнее кровопролитие с Неметчинской дубравой.

На тропинке, извиристо ведущей к Скрижалям Истории, установлена на обочине оловянная таблица с содержанием закона о том, что востребовано дураков уму-разу-

* Принятые в России до метрической реформы 1918-го года меры рóзлива спиртных напитков, прежде всего водки: ведро — 12 литров; шкалик — 1/200 ведра, то есть 60 миллилитров (прим. ред.)

му учить. И здравствовавший еще во времена первого кровопролитного сражения и воспоследовавшего за ним первого же бунта сицилистов в *Нашем лесу* Великий Лев остерегал власти и лесной народ: до добра все это не доведет, если путем самосовершенствования злоупотребители и дураки не изведутся. Не послушали старца-провидца, доигрались после трех лет Неметчинского кровопролития до окончательного бунта. Царя зверей с престола сбросили, власть в свои лапы и когти взяли сицилисты и масоны, внутриусобное кровопустительство во всю лесную пространственность развернулось. В конце же концов, победив внутреннего и внешнего супостата, в *Нашей стране* установилось общественное зверовластие, как *conditio sine qua non*, что по латинскому гимназическому учебнику значит «непременное условие», — в части всеобщего равенства перед табелями закона (чижик, что за канарейку сойдет), обязательного исполнения трудовых повинностей и прочих радостей и удовольствий лесной жизни.

Новая власть хорошо знала особенность характеров и своеобычаев своих лесных подданных, что со старинных (от тех же все Гостомысла и Рюриков!) времен всегда завидуют чужому куску, если он хотя бы на золотник по весу больше своего, не говоря уже о социальном неравенстве всего-то в величине разменной медной мелочи. Потому с самого начала общественного зверовластия всех перевели на единые продовольственный паек и получение присвоенного содержания в неотягчающих карманах числе рябчиков. На несказанную же радость писарям новая власть обязала все лесное население отныне и вовеки знать грамоте.

...Даже убеленные благородной сединой мудрости и в сюртуках, увешанных писчебумажными наградами, великие сочинители в душе остаются малыми детьми («Счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминания о ней», — в таком смысле сам Великий Лев писал). Оттого они и восхитились, наивные, установкой новой власти на всеобщее подтягивание лесной сволочи и иных обывателей к овладению грамматикой, включая в оную синтаксис и морфологию... фонетику тож. «Теперича все читать обязаны наши рукописания, отгиснутые литеррами, но уже без надоедливых «ятей» и «еров», а мы не будем успевать наведываться в кассу трудовые рябчики в обандероленных пачках получать», — радостно делились писари в своем кругу. Одно их поначалу сдерживало: за время бунта и междоусобного кровопролития в лесу разучились фабриковать бумагу, даже обычную древесную, не говоря уж о веленовой цвета благородной слоновой кости и с водяными знаками. Типографии же печатали указы и публицейские куранты новой власти на синей хрусткой бумаге, в которую обертывают сахарные головы. Указов же являлось многое число, потому сахарной бумаги писарям оставлялось очень мало. А ведь сколько мыслей, партикулярных и новолиберальных, отчаянно бунтарских и воспитательных, хвалящих Марксову затею о справедливом накоплении и распределении лесных богатств и воспевающих в бунтах борцов за общественное зверовластие, толкалось в головах одушевленных *идеями и установкой* писарей? Но все упиралось в нехватку бумаги.

И в Тулуповском лесу редкая, почти что занесенная в звероохранную «Зеленую книгу», порода писарей, бесконечно далекая от претензий даже на самые нижние, что под полом, ярусы Скрижалей, также проявляла умеренный энтузиазм. Но, как метко заметил Великий Тигр переворотного в лесной стране бунта, что-де Тулуповский лес знатное и полезное в части общественного зверовластия урочище, но звери там *далеко не наши!* А потому они были *не нашими* и никакими отпечатанными мыслями столичных, тем паче — местных, писарей не интересовались, что истари все гнули да гнули свои котёлки-самопалы, имея от казны регулярное содержание за свои труды в купюрных рябчиках; грамоте знали, но токмо для правильной разметки котёлок и верного подсчета окладных и премиальных рябчиков. Словом, со времен объерничавшего их первого усупенского Енота ничего в среде тулуповских обывателей-котёлщиков не изменилось...



Литераторы губернского масштаба Омшаников и Сухариков случайно встретились напротив бывшего издательства-кормильца. Вспомнили прежние времена, когда по нескольку раз за год заходили туда за солидными по провинциальным меркам гонорарами, повздыхали, позлословили о бывших и нынешних коллегах. Теперь оба нищей пенсией живут, изредка удается подрабатывать толику сочинением агиток на выборах-перевыборах. Поговорили и порешили, что единственное сейчас стоящее дело — пробиться в почетные граждане города: и приплачивают немного, и квартплату не требуют, на всякие торжественные мероприятия с буфетом, а то и вовсе с банкетом, непременно зовут.

— Да, хорошо бы, — мечтательно протянул Сухариков.

— Совсем недурственно, сударь мой, — поддержал Омшаников, поглаживая свои пушкинские бакенбарды.

Повздыхали, еще раз вспомнили недобрым, язвительным словом коллег-литераторов и разошлись. Пока до своих домов шли, все мечтали-фантазировали: как же почетное гражданство ухватить? Сухариков склонялся к совершению какого-либо трудового подвига, вернувшись к юношеской профессии оператора доильных установок. Долго мучался и Омшаников, а в конце концов позвонил — посоветоваться — руководителю местной писательской организации, разбудив того. «Брось писать, и за это тебе сразу почетного дадут», — сердито буркнул литначальник.

В серых, малорябчиковых буднях, без помыслов о Скрижалях, редко тиская тощие брошюры в губернской типографии и лишь по случаю печатая колонки в местных публицистических ведомствах — все той же «За родную трущобу», дожили писари Тулуповского леса до окончания первой трети нового века. Имена их, по преимуществу, исключая разве что переводчика писаря-поэта из Эллинского горнолесья, сохранились разве что в губернском архиве Тулуповского леса — на стеллажах порыжелых от времени номеров «За родную трущобу».

Самое обидное для тулуповских писарей того времени, что их даже администра-

тивными мерами не побуждали к более активному писчебумажному искусству, говоря гимназической латынью: *necessitatio per stimulos* — принуждением через посредство стимулов. По всей видимости, в столичных культуртрегерских департаментах новой власти на них вовсе махнули рукой, памятуя слова Великого Тигра о *ненаших*. Скучно, девушки, скучно...

♦ Конечно, особых-то эмпириеев на почву сугубой практической пользы тулуповские писари тех пламенных и одушевленных сердцем воспринятых Марксовых референций о светлом предбудущем не выказывали. Это не значило, что писарская жизнь в Тулуповском лесу тлела. Но все дело в масштабе, в сравнении со столицами и университетскими центрами; как говорят в междоусобных разговорах ученые звери в академических шапочках: кого-то усмотреть и в мелкоскоп лучшей неметчинской фабрики «Карл Цейс Йена» маловозможно, а иной и без астрономической трубы в полнеба виден! И ежели тулуповские писари из фабзайцевой пролетарской молодежи робко толклись в коридорах официальных губернских курантов «За родную трущобу» — в основном по части подвала четвертой полосы «Стихи и разное», то в столице *Нашего леса* с постоянно прибывающих почтово-пассажирских из Эдесских каштановых бульваров сходили и разбегались по редакциям курантов и типографских образцовых заведений многие числом ушлые писари.

Но сочинительствовать может и медведь в одинокой берлоге, если под старость зимой бессонница овладевает и хочется излить трепетную звериную душу в *memoires* об обоснованиях всякой общественности, отдаваясь беззаветно своим ощущениям и горьким идеалам добра и справедливости и так далее. При этом расчувствовавшийся зверюга как бы забывает в долгих зимних воспоминаниях о былых его должностных кровопролитиях и незаконном присвоении прогонных и подъемных рябчиков от казначейства...

Это все к тому сказано было, что прибывшие с вокзальных перронов в редакции и типографии молодцы-удальцы мигом начали создавать всякие писарские сообщества, в собраниях которых витийствовали о беспредельных свободах нового общественного сочинительствования и требовали с юношеским задором зверей с новыми уклонениями в части идеалов и благ, необходимых для развития оной общественности, «сбросить с корабля Истории, сиречь ее Скрижалей для себя самих уготовляемых, всех до единого великих писарей прошлого века, особливо упоминая «Солнце лесной поэзии». Но вот Великого Льва «не трогали за вымя», ибо за недостатком времени, круглосуточно уходившего на прилюдное, площадное декламирование своих многостраничных поэм и баллад о свершившейся свободе, самостоятельности и угадываемой в своих горячих сердцах обеспеченности (в рябчиках в том числе), они никак не успевали ознакомиться с девяносто томами наследия «зеркала» лесной общественности... Да еще написанные тяжелым умственным слогом. А как «сбрасывать с корабля Истории», на зная за что?

Другие писари, прибывшие в столицы и университетские центры из глухих заолустьих смешанных и хвойных лесов от сохи и посконно-домотканного быта, также объединялись для ограждения и развития своих идеалов в разрешенные пока еще — ввиду недоработанности конституционных законов нового времени — землячества и союзничества. Эти грамотеи по преимуществу сочиняли о фордзоновском (свои еще мастерить не научились) «тракторе, идущем на смену крестьянской лошадке».

Тут еще рабфаковская лесная молодежь уверенно заявила о своем присутствии и пролетарских идеалах, тиская свои индустриалистические вирши и бытописания не то что в подвалах последних полос столичных курантов, но сразу опосля идейных передовиц и постановлений «партии и правительства», как со времен Великого бунта привычно стали называть верховных управителей *Нашего леса*. А почему не поимен-

но? — Чтобы ответственность в случае какого конфуза отнести по части неопределенности. Поэтому-то партию в передовицах именовали мудрой, а правительство «плотью от плоти» трудящегося лесного зверья.

Во главу же партии, правительства и всего *Нашего леса* вступил Стальной Барс, некогда спустившийся с заснеженных гор далекого безлесного края, друг, соратник и верный ученик уже почившего Великого Тигра. Именно Стальной Барс привел огромный лесной край, занимавший 1/6 часть земной суши, к четкому порядку во благо всем и каждому; не потрафлял смутьянам и вора даже высших кондиционных рангов, перевел от громких слов к сугубой практике осязательное содержание общественного цветения лесных массивов и урочищ. Все он делал по грамотному порядку, добрался и до беспокойного, неумного писарского сословия. «Эк, распоясалась,— говорил он сам себе с горным языковым акцентом, прохаживаясь по своему кабинету со знаменитой курительной трубкой у барсовых уст,— все в ногу идут на стройки новой общественности, а эти разделились, как гимназисты младших классов в большую перемену, на ватаги и вот словесно лупцуют друг дружку: рабфаковцы фордзовских лесовиков, те — «сбрасывателей с пароходов» — и все по кругу идут, забывая о важности создания прочных устоев, необходимых для подведения общественных идеалов от беспредметных мечтаний для практического их пользования... да-да, всенепременно искреннее пламенение писарской природы, одушевление которой сейчас имеет слишком отвлеченный характер, заручившись соображениями общественной пользы, необходимо без промедления притянуть к коллективизированной земле, заводам и фабрикам, лесной армии и водоемному флоту!»

Еще по ковровой дорожке кабинета туда-сюда походил Стальной Барс, три раза вытряхивая пепел из трубки и вновь набивал ее табаком из переломленных пахитосок «Герцеговина флор», умственно все привел в диспозицию по писарской части и Поскребышеву отдал распоряжение срочно вызвать пред его очи из итальянских курортов знаменитого пролетарского писаря Горькоусого Моржа, а по прибытии одного в столицу изложил ему продуманный регламент об объединении всех сколь-либо проявивших себя, тем более просиявших на ниве отечественной словесности, писарей в единое обобществление — Союз лесных писарей, сокращенно, что тогда было в модной фаворе,— *Леспис*. Что Горькоусый Морж по старой, еще времен бунтов, дружбе со Стальным Барсом и исполнил, сверив число проявивших себя и просиявших на ниве писарей по статистическим таблицам, при департаменте внутренних дел публикуемым.

На первый съезд Лесписа из глухих урочищ, заповедных дубрав, речных омутов, горных арыков, тайги и тундры, джайляу плоскогорий, кишлаков, аулов и айлов, пустынь и степей («и друг степей калмык...») шайтан-арбами, пароходами Речфлота, перекладными тройками, новомодными аэропланами, с щедрыми прогонными и представительскими от казны рябчиками с 1/6 части земной суши добрались все сколь-либо проявившие и просиявшие писари. Добрались скоро, безо всяких докук и настояний, к начальству обращенных: везде им зеленый свет был отверзд.

Во вступительном к отчинению первого съезда Лесписа Горькоусый Морж, соблюдая со всех сторон предмет размышлений о необходимости и полезности обобществления писарей в Лесписе, обозначил смысл и назначение оно. В особенности видел он последнее в дружественном объединении всех писарей *Нашего леса*, принадлежащих к различным и многим — свыше ста! — зверовым видам. И долженствование такого объединения (Волк обочь Овечки благонаравно рядышком расположится) тот имеет толк, чтобы показать всему *Нашему империалистическому лесу*: мы есть единое перед лицом зверного пролетариата *Нашего леса* и перед лицом дружественных нам писарей всего лесного мира!

Особенно отчеркнул в своем Слове Горькоусый Морж, что объединение писарей не суть лишь географическое понятие, но в основание такой общественности положено единоустремление нашей цели. Причем обобществление это вовсе не отрицает своеобразия — в выдержанной пристойности — дозволенного вольномыслия и цветистости писчебумажного искусства каждого писаря, его манерности и устремленности к светозарным идеалам.

Обобществление всех наших писарей, продолжил оный достославный Морж, имеет место быть во времена империалистического одичания, устремленности к срамным злодействам и бесславным кровопролитиям. Но полное отсутствие воодушевленных идеалов свободы, обеспеченности и разумной самостоятельности у окружающей *Наш лес* империалистической звериной сволочи понуждает ее к безысходному отчаянию, а как следствие оно — возвращению к изуверству дремучей трущобной первобытности еще не благоустроенного леса.

Только наши обобществленные писари утверждают во всем лесном окоеме идеалы добронравия и осязаемого благопорядка — от ничтожнейшей лесной инфузории до величественных слонов и китов. И именно поэтому мы с полным на то историческим основоположением можем выступать судьями того лесного мира, что за нашими пределами (которые защелкнуты на замок) и каковой находится в должествовании неминуемой гибели. Наша же задача в ближней и дальнейшей перспективе суть «не норовить в ложке утопить» чуждый нам лесной мир, но привести в таковой гуманитаризм и ослобонить трудящиеся массы от пороков мыслей, совести и чувств. Главное завоевание нашего Великого бунта — это полное устранение на Аридовы веки* устремлений к накопительству, вельми вредного общественному процветанию, и дремучему звериному одиночеству.

Наш Леспис, завершал свое краткое, но убедительное Слово достопамятный Морж, сообразовался в обновленном Великом бунте *Нашем лесу*, где руководимые должностными воспреемниками Великого Тигра лесные пролетарии и обобществленные землепашцы в праведных кровопролитиях обрели правомочность на всяческое успешное самоусовершенствование своих умственных дарований и естественного для всех нас трудолюбия. Целеустремление же наше — освященное мыслями и подвигами Великого Тигра, а ныне руководимое титанической волей Стального Барса — организовать лесное писарство как обобщественное добровольческое компанейство для воспитания в лесных обывателях-тружениках идеалов добра и бунтарской непримиримости ко всему тому, что мешает *Нашему лесу* идти семимильными шагами к вселесной свободе, беззаветно отдаваясь решениям нашей партии и правительства!

...Две недели длился с восторгом и на казенных харчах первый съезд Лесписа, по окончании же был единодушно принят Лесной писарский устав. А еще загодя хлопотами Горькоусого Моржа в столице было освящено с торжественным открытием специальное Высшее писарское училище для вящей вразумительности и наставлений инженеров лесных душ: организованно нести в лесную глушь доброе и вечное, создавать в мыслях будущих писарей прочные устои для практической натурализации всяких благополезных идеалов, решительно бороться в своих писчебумажных сочинениях супротив благодушствующих «писарских середняков» на дармовых хлебах, всевозможных потрясателей, подрывателей и злоупотребителей основ, искоренять в своей среде тех недобросовестных «примкнувших» сочинителей, у которых мысли вроде бы и резонные, чувства не задевающие те самые основы, но совести на медный пятак. Особливо выступающие на объединительном и обобществляющем съезде Лесписа требовали искоренения и дальнейшего недопущения в их ряды хал-

* То есть на многие века (вперед); из русского языка XIX века (прим. ред.).

турщиков, что, затесавшись в число *наших* писарей, исподволь скучно на бобах разводят или паче всего на округление периодов приналегают.

...Много чего за две-то недели посланцы далеких лесов, водоемов, горных арыков и джайляу, кишлаков, аулов и айлов (что по созвучию близки, но в разных географических пространствах наблюдаются), да еще на полном казенном содержании, вельми доброго, вечного и справедливого порассказали. Оно того и ожидалось устроителями: ведь не нищие сволоклись на поминки упраздненных на съезде междуособных писарских кумпанейств, но во весь голос новые пролетарские инженеры лесных душ, поклявшись в верноподданничестве, направляющей силе обобществления *Нашего леса*, заявили всему империалистическому миру: «Мы — умы, а вы — увы...» — «Кто там шагает правой?левой, левой!» (При этом для вящей вразумительности поясним: имелось в виду не принятое в империалистическом Аглицком безлесье левостороннее дорожное передвижения и не *наше* правостороннее...).

...Как обычно, по сложившейся со времен Гостомысла и братьев Рюриков традиционности, все события в *нашем* писарском обиходе проходили обочь Тулуповского леса. Были ли званы на учредительный съезд Лесписа робкие писари оттель? История таковых имен не называет. Скорее всего, званы не были, а незванный гость? Таки не пришло и здесь время Тулуповскому лесу иметь своих проявивших и просиявших. Великий же Лев давно почил в бозе... да и не поехал бы оный на съезд. Не уважал он мероприятий соорганизованных. Во время оно даже отказался с гневом от премии нефтяного и динамитного купца Нобеля, о коей во сне и наяву грезят вот уже за сто лет все писари лесного мира, ибо она сходу возносит обладателя ею на самый горный ярус Скрижалей.

♦ Сразу скажем по времени вперед на четверть века от прохождения достославного первого съезда и собственно учреждения в целях общественного процветания и благополезного регламента Лесписа. Уже давно почил на вечный отдых от трудов благоустройных Стальной Барс. *Нашу* партию и правительство, вероломно взяв верховенство, теперь вел к идеалам Кукурузный Вепрь; ни шатко, ни валко вел, но накопленное рачением тезоименитого предшественника огромное лесное богатство и установленное благонравие вывели *Наш лес* в мировое первостепенство. Обыватель впервые за лесную Историю преисполнился сытостью и нравственным благодушием. Золотой век ощутимо наступал, и не бездельным обычаем, но веселыми трудовыми буднями все устремилось приводом к единому знаменателю: каждому по его внутриутробным потребностям!

В начале своего верховенства Вепрь ослабил либерально вожжи писарям и радетелям иных благоприличных изящных художеств, что и поспешили наречь «оттепелью». Но скоро Вепрь осознал свою административную оплошность и сызнова ввел прочные устои для исполнения идеалов: кое у кого из писарей повыдергивал (изустно) из шаловливых ручонков гусиные перья, а живописующих уклонистов от предначертанных идеалов и вовсе пидорасами нарек. Сам Вепрь простонародного званья был зверь, любил грубо пошутковать: дескать, узнаете у меня как Кузькину тещу зовут!

...Опять же по горестной традиционности за проистекшее со времени соорганизации Лесписа два с половиной десятка лет ни один из тулуповских писарей не проявился и не просиял. Быть только может один поэт, которого для исправления идеалов, давших у него некоторую кривизну, на время прислали из столицы в одно из фабричных урочищ Тулуповского леса? Но тот побыл положенное ему, кривизну поправил и взад в столицу возвратился. Все одно — временный и пришлый в нашем кондовом лесу... К тому же впоследствии не на высокие ярусы Скрижалей определился. Про девочку Лиду он строки слагал.

А меж тем зарекомендовавшие себя с лучших позиций коренные обитатели-писари *Нашего леса* и которые по регламентной разрядке с южных пустынных и гористых окраин удостоенные титла почетных граждан, то есть обилеченных членов Лесписа, что в новой, общественной табели о рангах означало майорский чин, в полное восторженное ликование впали... Мудрый Стальной Барс, организовав с усердием Горькоусого Моржа Леспис, совсем не случайно переименовал старинную — от Гостомысла и Рюриков — присказку «хороший писарь — голодный писарь» в обратную: «лучший писарь не должен отвлекаться на поиск хлеба насущного». То бишь, с одной стороны, бесталанный пролезть в члены Лесписа, да еще бездельным обычаем, был поставлен в диспозицию библейского верблюда, стремящегося протиснуться сквозь игольное ушко: широкая, массовая общественность пишущих и читающих, а также благодушная отеческая опека лесной партии и правительства не позволяли. Со стороны другой, обильный казенный харч от положенного натурой и гонорарами оклада содержания держал обилеченных писарей постоянно в состоянии бодрственной действительности, не отвлекаясь на жажду бесформенных чаяний — а то запросто могли отчислить по инфантерии в нижних, стенгазетных чинах! «Билет с золотым на обложке профилем Великого Тигра на стол!» — и окончен разговор.

К тому же время шло, а *времена* изменялись. Если при Стальном Барсе от членов Лесписа, несколько попуская особо талантливым, требовалось непременно обличать потрясателей основ, подрывателей устоев и злоупотребителей по части науки и практики накопления и распределения обобществленных богатств, то еще при Кукурузном Вепре, даже при его неустойчивом соображении по части писарей и всяких художеств, не говоря уже о его воспреемнике на высшей в лесной стране должности благодушном Втором Тигре, обилеченные и стремившиеся в ареопаг оных писари неназойливо отыскали выход. По молчаливому уговору меж собой, пользуясь радикальной устареваемостью бессменных руководителей *Нашего леса* (их в наступившее либеральное время уже не приводили периодически к одному знаменателю, как то было принято при Стальном Барсе) с естественным ослаблением бдительности и тягой к снисходительному благодушествию, было достигнуто джентльменское, как говорят в Аглицком безлесье, соглашательство. То есть власть не выказывает неудовольствия по части легких намеков писарей на некую якобы неустроенность лесного народа в части свободы, самостоятельности и обеспеченности в отношении накопления и распределения лесных богатств. А потому не выказывает, что располагает многими старческой мудростью, то есть понимает: всякий зверь имеет пожелание продовольствоваться от пуза, а писарь — тем паче, поскольку он есть труженик умственный, а оная работа по природному, биологическому естеству требует чрезвычайного расходования нутряной энергии мозга (если он еще из головы не выветрился!), которая токмо и возобновляется двойной пайкой порослят, кур, меда и сивухи к обеденному столу.

Поелику же писарь рябчики на покупку продовольствования имеет по преимуществу от гонорариев, размер которых в масштабной пропорции издательскими бухгалтерскими регистраторами исчисляется от проданных в писчебумажных лавках книг писарей и толстых курантов с их же сочинительствами, то в оных рукописаниях тот должен подпускать намеки на легкую крамольность и некоторую подлость мысли. Конечно, даже в потаенных своих мыслях не допуская какие-либо потрясения основ и подрывания устоев! Но вот такими-то необходимыми для власти (дескать, о твоей же благонравной крепости заботимся!) намеками только и может хитроумный писарь потрафить лесному читателю. Ведь со времен Гостомысла и воследовавших ему Рюриков известна посконно-домотканная вредность *нашего* лесного звериного народа: в чужом глазу соринку узреть, забыв о своем бревне...



В недавние былые времена, когда литераторы жили хорошо, опекаемые Литфондом Союза писателей СССР и приписанные к издательствам, труд их был регламентирован и очерчен определенными рамками. Так, столичным писателям и «продвинутым» провинциалам, отмеченным высокими премиями, позволялось сочинять на темы философски-отвлеченные, общечеловеческие — понятно, в рамках гуманизма, интернационализма; рекомендовалось попутно добрым словом отзываться о руководящей роли... и лично! Но от наиболее знаменитых и известных «за бугром» здесь требовался джентльменский минимум: прямо не восхвалять, но «пусть будет плохо тому, кто дурно об этом подумает». Провинции же, периферии по-тогдашнему, оставалась конкретика: воспевание людей труда и агитация за советскую власть. Здесь о партии и правительстве полагалось петь гимны, но в персонификации партайгеноссе не выше областного масштаба.

Сейчас социальный заказ остался только для запиаренных столичных сочинителей детективов, фантастик и глянцевого порнороманов. Провинциалам же, бывшим периферийщикам то есть, осталось только развлечение в виде пускания литературных мыльных пузырей тиражом в 100 экземпляров — своих кровных, или если полного дурака-благодетеля найдут. Вот соберутся они в крохотной комнатухе местного отделения писательского союза (их сейчас несколько) и пускают пузыри:

- О-хо-хо, были же времена хлебные?*
- О-о-х, то ли еще впереди...*

С ответной стороны, блюдя это аглицкое джентльменское соглашательство, писари дают при получении членского билета Лесписа «клятву верности»: сочинять благопристойно, особенно в части предметов, лежащих в основании обобщественности, не хулить даже полусловом (или единой буквицей с многоточием) все властные персоны и их должностные статусы, начиная с чина коллежского асессора, то есть статского майора. Коль же сами они по Лесному писарского уставу тоже отнесены к таковому чину, то избегать внутреннего междоусобства. То есть воодушевляющее пламя критики партикулярной можно раздувать только на образы персон нижних ступеней таблицы о рангах, особенно на безвинных овечек коллежских регистра-

торов, а внутренней писарской критики токмо на еще необилеченных и пишущих в свои урочищные и фабрично-заводские стенгазеты. В остальном — *litteran quoad litteram* (в отношении буквального смысла) — всеобъемлющая круговая джентльменская порука. Уже не по-аглицки, но по природным нравам *наших* лесных обитателей.

♦ Для вящей вразумительности и подчеркивания того, что писарство отныне включено в общий табель профессий, хотя бы условно безчиновных, но приравненных к майорскому достоинству, регламентом было определено: званием *писаря* именовались токмо обилеченные члены Лесписа; все же остальные тяготеющие к рукописанию и к светлой, радужной перспективе войти в ряды таковых звались *сочинителями*. Между ними пролегла не то что доступная перепрыгиванию, подоткнув за опояску полы партикулярной шинели, обоченная булыжной мостовой канава, но — пропасть окоемная! И вот здесь-то возникла скверна зависти необилеченных к действительным лесписовцам. Как же страдали в уязвленной гордыни тулуповские сочинители за те четверть века от основания Лесписа, что в их рощах, ельниках, осинниках-березниках, дубравах и болотистых урочищах не имелось ни единого полного (как полный генерал от инфантерии или кавалерии...) писаря?! Даже фабрично-заводские стенгазетчики Чижик и Канарейка с подсвистывающими им Скворцом, Соловьем, Зябликом, Синицей и Пеночкой, тем более иногда публикуемые в подвалах четвертой полосы губернских курантов «За родную трущобу» и комсомольской «За молодую трущобу», уже твердо освоившие грамоту и умение лихо чиркать гусиным пером Снегирь, верноподданнический Копчик, осанистый Ястреб, патриарх сочинительского дела Глухой Тетерев и рабфаковские «собственные корреспонденты» всей веселой стаей — Кукушка, Ворона, Галка, Сорока и Горихвостка... словом, все они засыпали на своих ветках деревьев и раскрывали очи на утреннее солнышко с единой довлеющей мыслью: а не оттиснут ли в столичной образцовой типографии уже тот билет с золоченым профилем Великого Тигра на обложке, в графы которого фатальной судьбой уготовано в оно время каллиграфу-регистратору Лесписа начертать железисто-галлусовыми чернилами *его Имя*? Но — «долог путь до Типперери, долог путь, четыре дня. Знаю я, красotka Мэри в Типперери ждет меня»... как в годы первого в этом веке великого вселенского кровопролития распевали на позициях солдаты Аглицкого безлесья... Горестно, несмотря на радостное утреннее солнечное благолепие, стреножили они свои мечтания; ведь вступить в Леспис намного сложнее, нежели, к примеру, получить ученую степень доктора филологии.

И было отчего исходить от невольной (или вольной?) зависти. Ведь рядовой провинциальный сочинитель даже в продовольствовании своем перебивался с хлеба на квас, а писари, особливо столичные и университетских центров местопребывающие, жировали. Об этом с огорчительным восторгом рассказывали тулуповским стенгазетчикам и «специальным корреспондентам» иные лихие снегири, сороки и горихвостки, что иногда ездили на перекладных и «чугунке» в столицу: побегать нахраписто по редакциям толстых писарских и тетрадного формата комсомольских курантов со смешными предложениями (ох, фофаны они, фофаны!) тиснуть их поэмы и романы о трудовых буднях родного леса.

Безнадежно толкаясь в редакциях, они и узнавали о регулярно-спокойном обиходе проявивших и просиявших обилеченных писарей. У них теперь и мысли об утолении нервного голода выветрились из голов. Уже не только по табельным числам харчевались они штыми с убоиной, но всякто-то день хозяйки их из печи на стол ухватями метали горшки. Да все с бараниной-то штицы! В праздники же, которые в память о предбывших бунтарских геройствах, особливо в главный из них, что на канун Михайлова дня в отрывном календаре киноварью помечен, а также в день опосля ведьмовской Вальпургиевой ночи, в тезоименитство Парижской коммуны, Взятия Басти-

лии и Восстания лионских ткачей... — в оные торжества шти с убоиной понеже постными полагались, а громадные овалыные столы, доставшиеся обилеченному вкупе с отведенной по литеру многокомнатной берлогой от прежних эксплуататорских классов, перебравшихся на прозябание в Галльский лес, хозяйки писарские уставляли для гостей иными яствами.

Очищенную «рыковку» и настоящую сорокоградусную гости гурмански заедали семгой-порогом и копчеными переславскими сельдями. Не вспоминая о бедной своей молодости, когда для них все было и в пир и в мир, празднично собравшиеся писари лакомились копченой же тамбовской ветчиной, что почище хваленого пресмыкательства перед Западным лесом вестфальского окорока. После тяжелого даже для закаленного круглогодичным мясоедом (не как раньше токмо в весенний и осенний, когда свадьбы справляли...) писаря поросенка с гречневой набивкой и хреном, последующие тосты вегетариански закусывали малосольными калиброванными муромскими огурчиками, а нарочито («мы от сохи, вашими изысками брезгуем...») крестьянский поэт Коняга хрустел тугой квашеной ростовской капустой. Жены и дети писарей лакомились ржевской, коломенской и белевской (бывш. «поставщик двора Его Императорского величества») пастилой и засахаренной кольской морошкой, что по раннему озимью, когда установится торный санный путь в Лапландию, поставляют в столицу архангелогородские купцы — люди поведения трезвого и к идеалам обобществления благонамеренные.

...Чего только с три короба не расскажут побывавшие в редакциях столичных курантов лихие снегири, сороки и горихвостки? Известно, славны бубны за горами! Но даже толика истины из рассказанного ими (под отведенный регламентом сочинителям хлеб и квас) неимоверно будоражила провинциалов, поселяя в их головах и душах бессильные порывания «от тьмы к свету» встревоженной бессознательности.

И как-то не задумывались не проявившие и не просиявшие о жизни, трудах и заботах обилеченных писарей. Мало того, что с них верховная лесписовская — и бери куда выше! — власть строго спрашивала рапортами и изустно даже за невольные отклонения от утвержденного Лесного писарского устава. Устав же тот при его перво рождении был внимательно прочитан (с красным карандашом) самим Стальным Барсом и одобрен. Поверх же официальным языком изложенных — все-таки партикулярный документ! — положений о добровольческой деятельности писарей по распространению в своих книжных и курантовых тисканьях здравых мыслей в обществе лесных обывателей (о лесной сволочи уже не принято упоминать) ясно полагалось основное предназначение Лесписа и составляющих его обилеченных. А именно: не для того писарям положен ежедневный харч из штей с убоиной, и по праздникам* и поросенок с гречкой и хреном, чтобы они благодумствовали и считались чинами, то бишь числом оттиснутых в книгах и курантах авторских листов и полученных за оные премиальных, а также прогонных и представительских на поездки к своим читателям в лесную глушь. Нисколько не так. Билет Лесписа получал только писарь с горением таланта в душе... и в голове, конечно, осененный благосклонностью муз Эрато, Каллиопа и Мельпомены, мыслию витающих в Дельфах (а тем, кому заграничные поездки разрешены — и воочию) близ источников Иппокрена и Кастальского ключа. А собственно задача Лесписа — отображать волнующую обобщественную действительность и устремление к высшим идеалам. Главное же в том заключается, чтобы воспитывать лучшие чувства, нравственность, поиски доброго и вечного в *трудящемся* обитателе *Нашего леса*. И срок жизненности, самого существования и необходимости в оном для Лесписа, как одушевляющего предмета в обобщенности жизни, — соотносится с отпущенным Историей временем самой действительности указан-

* См. выше (прим. ред.).

ного обобществления. Пока что в *Нашем лесу*, но желательно в распространенности по всему лицу земли в качестве узаконенной нормы, каковой руководит неусыпно Марксова наука о накоплении и распределении обобществленных богатств.

Еще же наивные провинциальные не проявившие и не просиявшие не ведали в своей тулуповской чашобной глуши о постоянно вспыхивающих междоусобных словесных кампаниях-баталиях в среде обилеченных писарей, особливо и по преимуществу столичных постояльцев. В порушение положений писарского устава поливали они самым непристойным и подлым образом друг дружку, в основном, все из зависти по части упомянутых авторских листов, премиальных, прогонных и представительских, зачастую вовлекая в паскудное это дело и власть предержавших посредством особых писарских доносов.

...Но обо всей кухмистерской таких междоусобных баталий с отчаянной подробностью всех их перипетий рассказал в своем волшебном-магическом романе один столичный писарь, в большой мере хлебнувший воодушевляющей влаги источников Иппокрена и Кастальского ключа в особенности. Поначалу он в писаниях зарекомендовал себя не с лучших позиций, слишком вольнолюбиво и со смехачеством относясь к начальным годам обобществления в *Нашем лесу*, но затем кастальская жилка в нем возобладала, серьезно стал рукописывать, даже в определенных смыслах проявился как собиный собеседник в телефонных диалогах с самим Стальным Барсом, знавшим толк в истинных талантах.

...Но все это обуждено и переговорено писарскими дятлами и кротами науки писареведения. Мы же вернемся к сочинителям, а впоследствии даже писарям Тулуповского леса. Полагаем — до самого окончания нелюбопытного, но вдохновенного повествования.

♦ Мечтания о ежедневных штях с убоиной и поросенке под хреном в праздники и иные табельные дни для тулуповских сочинителей обострились в верховенство Кукурузного Вепря — в пресловутую «оттепель». Но все едино ни одному из оных сочинителей не удавалось вспрыгнуть в чин писаря, хотя бы они не только никаких пропаганд по предметам всеобщего обобществления не распространяли, но порой являли и недюжинные сообразительные способности к складыванию виршей и написанию повествований. Самое обидное — в самом Лесписе не только официально, но и за дружескими ассамблеями с поросенком и тамбовской ветчиной не выказывали ни малейшего сочувствия к тревожениям тулуповских сочинителей за свое светлое будущее, проявление и просияние. Как в народе лесном говорено: не все в ус да в рыло, ино и мимо.

Не могут обиженные тулуповские бесчиновные сочинители сообразиться настоящим моментом: чем они провинились? Или в провинции талант меньшего весу, нежели в столицах и университетских центрах? Казалось бы, в упорном старании их не обвинишь. Не только в подвалах четвертой полосы губернских курантов «За родную трущобу» и его младшего, комсомолистского брата «За молодую трущобу» они регулярно тискаются, но с благонамеренной регулярностью два раза в год начали печатать свои толстые писарские куранты «Тулуповский сочинитель». И книги свои начали печатать, благо судьба сама катила им навстречу «золотые горы и реки полные вина» в виде собственного, печатающего полезные для нравственности и обобществления сочинения издательского заведения. Как издревле принято в лесной стране, сообразно сработала присказка: нет худа без добра. То бишь утомивший весь лесной народ своим *волюнтаризмом и пробелелизмом** Кукурузный Вепрь сделал единст-

* С такой энцикликкой в 1964 году <имярек> был удален со всех своих чиновных должностей; волюнтаризм — всем понятно, но пробелелизм требует пояснения: от имени социалиста Августа Бебеля, имевшего некоторое недопонимание теории Маркса (прим. ред.).

венное за свое самоуправное время доброе дело: разогнал неимоверно скопившийся в столице чиновный народ, у которого от обилия дармового харча в виде штей с убойной, поросят под хреном и копченого тамбовского окорока мозг в голове усиленно выветривался — расселил его в правильной пропорции по губерниям. Волею (волюнтаризмом?) случая Тулуповский лес в новом административном порядке получил статус главного над несколькими соседними лесами, потому в нем учредили местное правительство (партия осталась одной для всех, как и Леспис). Для благонравия, резонности и действия по пристойности при нем создали в тулуповском губернском центре и многие полезные учреждения, рассчитанные на все подопечные леса, в том числе и издательское заведение для печатания благополезных книг. В числе оных предположено было тискать и благонравные сочинения, чем тулуповские писчебумажные труженики тотчас воспользовались под латинским девизом *jus primae noctis* (право первой ночи), коль скоро издательское учреждение хотя и рассчитывалось на несколько лесных губерний, но располагалось-то оно в Тулуповске! А значит местным сочинителям не токмо не следует тратиться на прогонные и представительские рябчики из самоличного кармана, но хоть кажинный день, исключая праздники (покуда, увы, без поросенка с хреном...), в пешем — для бодрого освежения мысли — порядке шествуй в издательское заведение и убеждай тамошних служащих во вседневной пользе и впоследствии от того распространении здравых мыслей в лесном обществе от первоочередного тискания его сочинений...

Так благоустроилось в Тулуповском лесу, что и свои писчебумажные куранты завелись, и *bonum vacans* — вакантное благо печатания сочинений в издательском местном заведении предоставилось, но... не являлись в тулуповские пенаты обилеченные писари. Хоть в колокола звони и чужих к себе переманивай!

...Сбылось таки! Пришло и в Тулуповский лес писчебумажное счастье — возжеленный момент просияния наступил! От сочинительских посиделок-воздыханий и курантов «Тулуповский сочинитель» в одночасье соорудилось административно-официальное отделение Лесписа, что предполагало обретение Тулуповском обилеченных писарей.

В полностью обобществленном лесу не общественность как таковая решает те или иные поползновения на образование предмета действия, но принятый регламент. Но кроме него продвижению к образованию предмета во многом, если не во всеобщности, способствует соревновательность равноправных, но имеющих в подчинении различные леса и урочища властей. Как писари и сочинители считаются своими писчебумажными чинами, то бишь числом оттиснутых типографскими литерами авторских и печатных листов с дальнейшей их брошюровкой, так и воеводы различных губерний пристально надзирают за равными по чину: а не завелся ли у моего соседа воеводы <имярек> таковой занимательный предмет, о коем в *моей* губернии еще слыхом не слыхивали? А коль упущение обнаружено мною самолично, либо же исправником, предводителем, каким-либо малочинным становым или тысяцким доложено по канцелярии рапортом, то немедленно: ату их! Создать немедля! Воплотить в бодрственную действительность, на закон не наступая, но для скорости обходя его в дозволенных устоях и градациях! И для благонравной строгости и побуждения к исполнению: ма-а-лчать! Не рассуждать, а тотчас перевести предмет из области эмпиреев на почву практической пользы! Затем от нарочитости административного гнева перейти к поощряемому благодушию: дескать, действуйте по пристойности, ибо оный предмет суть благо, вельми необходимое для развития обобщественности. В наградных за усердие не сумневайтесь!

Вот по такой-то диспозиции и произошло в Тулуповском лесу в части сооружения соревновательного предмета — губернского отделения Лесписа; в устоявшемся впоследствии поименовании — *Тулупис*.

◆ Надо сказать, что сразу после достопамятного учреждения Лесписа в университетских центрах и в обычных лесах и урочищах дальновидные воеводы принялись, радея об общественном просвещении и рекомендации своих губерний с лучших позиций, учинять отделения Лесписа. Главное — пройти первое препятствие: по Лесному писарскому уставу требовалось наличие присутствия в губернии не менее пяти уже обилеченных писарей. Для сызнова учрежденных губернских писарских автокефалий утверждались три условные должности: руководящего Льва в чине подполковника, Осла в майорском звании и бесчинной Птицы-Секретаря. Отметим: это именно наименование табельных должностей. Замещать же оные мог иной благонамеренный по своему естеству зверь; для сего не требовалось уточнение рапортом и иных докук и настояний, к лесписовскому и местному губернскому начальству обращенных. Не допускались токмо рыбы ввиду их бессловесно урожденного характера, никак не сообразного писарским занятиям. Впрочем, должность Птицы-Секретаря являлась чисто регистраторской, не востребовавшей писчебумажных наклонностей.

Осел, хотя бы уроженец иных, теплолюбивых климатов, по сочетанию врожденной мудрости и доверительности междусобойных суждений, а также пристойной осторожности в части улавливания потрясательных, подрывательных и злоупотребительных намеков всего более соответствовал должности заместителя Льва по творческой пристойности соучастников губернской писарской соорганизованности. Однако — к собственному истории появления Тулуписа.

Возвратившись с большой, что раз в четыре года происходит, властительской ассамблеи, на каковой речь шла и о роли писарей в дальнейшем усовершенствовании обобществленности, тулуповский воевода, донельзя разобиженный ерничеством на оной ассамблее в его адрес (в буфетных перерывах) властителей иных лесов и урочищ, уже соорганизовавших писарские сообщества, грозно упрекнул ответственных за культурное времяпрепровождение лесного народа чиновников, намекнув явно и прилюдно: а не напрасно ли вы получаете присвоенное содержание?

Огорченные культуртрегерские чины принялись действовать по пристойности, но и поспешая. Главное, старались, чтобы их огорчительное одушевление не имело отвлеченного, как принято в их благодушной среде, характера. «Партбилет на стол!» — более всего устремляло к практической действительности.

Начало делу положило зачисление двух тулуповских сочинителей, один из которых в давности даже побывал секретарем у Великого Льва, в писари. Правда, для учета и регламента их провели по соседнему лесу. Тулуповский воевода, промолчав на такую обиду к унижению своего чина, еще раз провел нелицеприятный разнос чиновникам от культуры: дескать, ищите где хотите, апартаментные берлоги и рябчики подъемные, харчевые и представительские не задержатся, но чтоб, вынь да положь, в самое ближайшее время в *моем* лесу еще трое обилеченных имелись!

Коль скоро в это время вторая (из женского полу она была Оленихой) из ранее зачисленных в писари являлась курсисткой Высшего писарского училища, то ей и вчинили негласно сагитировать троих однокашников по училищным курсам, с билетами Лесписа, перебраться под сень Тулуповского смешанного леса. Дело было сделано: слабо благоустроенные в исторических родных лесах и чащобах завербованные писари, в том числе из Якутской мерзлявой тайги и Полесских болот, прибыли в Тулуповск. Каждый получил по роскошной трехкомнатной берлоге (даже если был самдвое с супругой) в центре губернского города, в добротных «сталинских» — так их звали по имени Стального Барса, при котором халтурить воспрещалось, — домах. И рябчиками прогонными, подъемными, харчевыми и представительскими не обидели.

Вот и собрался негласным радениям беспокоящегося о культуре и благонравии лесного народа воеводы пятерик кандидатов в проявившие и просиявшие писарей. И никто им (пока что) поперек не стоял, берлогам апартаментным и рябчикам подъем-

ным и харчевым регулярным не завидовал. Время оно, когда один дурак пятерых умных ссорит, еще не пришло. Словом, благости в воздухах при появлении на свет Тулуписа разлиты светозарно были: *fac bonum et omitte malum* — делай добро и избегай зла, как говорил один из родоначальников этой славной соорганизации, упомянутый выше последний секретарь Великого Льва, коль скоро он в царевой еще гимназии ума-разума набирался и латынь зубрил за партой оной.

...А раз не мытьем, так катаньем, в смысле числом и достаточным умением, пятеро обилеченных писарей собрались воедино (но каждый в своей благоухоженной берлоге) под сенью командированных от Кастальского ключа в Тулуповский лес писчебумажных муз, то, как говорено, и свадебку пирком. Воевода, теперь уже не остерегаясь язвительных намеков на некультурность от хозяев других лесов и урочищ, благословил создание Тулуписа; Леспис одобрил, приписав создание еще одного очага в лесной глуши, конечно же, себе. На организационную ассамблею прибыли из столицы руководители Лесписа, седовласые и умудренные, естественно, проявившие и просиявшие на положенных им ярусах Скрижалей. «Писари Тулуповского леса, — в заздравном спиче на ассамблее говорил один из них, просиявших, — вельми должны усердствовать в сочинении резонных книг об обитателях вашего преславного леса, при этом держа в уме, что читать их станут по всем окоймам *Нашего леса!*»

В завершении празднично организованного властями и усердием самолично тулуповского воеводы, предводителя и исправника тож, действия, но уже в междоусобном писарском кругу был избран на должность Льва сманенный из Якутской мерзлявой тайги писарь. Признанный умелый соорганизатор пишущего зверя и тонкий дипломат в части междоусобных раздоров.

♦ Лиха беда начало, даже если лихо всенепременно за спиной всякого счастливица стоит. Но лихо самочинствует некоторое время втихомолку и набрасывается на ничего не подозревающего опосля... когда природная бдительность писаря утрачивается. Но случится сие лишь через десять лет после узаконения Тулуписа, о чем позже будет сказано. Пока ж облагодетельствованные Лесписом, воеводой и культуртрегерскими властями тулуповские писари развернулись во всю губернскую ширь и удаль. Не следует мнить, что Леспис и его губернские отчинения были устроены радением Стального Барса и Горькоусого Моржа едино для беззаботного продовольствования писарей. Это было бы накладным для лесной страны баловством да и только, о чем выше приведены пристойные рассуждения. Главное — обеспеченное жительство и харчевание не отвлекало писарей от сочинения книг, способствующих общественному цветению лесной страны. А с числом отписанных литерами книг и междоусобных критик приходило и мастерство, которое, в свою очередь, продвигало к проявлению и просиянию с весомой надеждой на оседание в положенных писарским регламентом ярусах Скрижалей.

В обобщественном *Нашем лесу* во всем главенствовала коллекта*, из чего приветствовалось численное возрастание писарей. Шестым сочленом Тулуписа также стал пришлый, завершивший все те же курсы при Высшем писарском училище Сказочник. Родоприсхождением с Мокшанских лугов. И его воевода с предводителем не обошли трехкомнатными апартаментами, прогонными, подъемными и пр. Имеется в арифметических учебниках для гимназий, того же Магницкого (но и не того, что упоминали выше...) правило о прогрессиях, где та же коллекта возрастает не простым прибавлением единиц (един в уме держим, два в пропись заносим), но все набирающим мощь при увеличении текущей численности. Так наблюдалось и с Тулуписом: после прибытия Сказочника чужих более не звали, а междоусобным тайным голосованием вычленили в писари наиболее способных тулуповских сочинителей. И им воевода по наущению партийного предводителя на добротные берлоги и подъемные не скупились.

* Термин (разговорный и книжный) XIX века, далее трансформировавшийся в «коллектив» (прим. ред.).



Вызвал халиф Кишимиштанского ханства визиря по идеологии для доверительной беседы:

— Знаешь, Саулбек Биригендерович, моя дочка Зульфия, которая, как ты хорошо знаешь, в МГУ на филфаке учится, намедни позвонила. Дали ей сложную тему для курсовой работы по политологии: «Большевизация и современная американизация Средней Азии в исторических параллелях»...

— Вот, неверные, как закрутили, мой повелитель!

— погоди, Саулбек, не на митинге мы, не на телевидении. Давай к делу. Референт мой кое-что скачал с Интернета, но нужны практические примеры. Нарой что-нибудь по памяти.

— А чего тут рыть. И сами, ваше... сам, дорогой Назым, знаешь по моей биографии. Дед Барлык-хан в двадцатые годы был главным басмачом в наших местах. Три года за его отрядом конники Ворошилова безрезультатно гонялись. Кроважки реку немалую дедуся пролил. Но затем, как человек умный, первым дал клятву Клименту Ефремовичу в верности партии и народу и обменял именной маузер — от английского короля Георга — на должность первого секретаря обкома. Убывая беседовать с аллахом, передал ее отцу Биригендеру Барлыкхановичу, а тот, как сам опять же знаешь, меня в наследство ввел на закате нашей бывшей родной власти. Теперь вот ты меня подобрал... вроде как все в обратную сторону двинулось.

— Эт-то ты на что намекаешь? Знай все же меру, хотя и в ВПШ вместе учились! Кстати, сегодняшний курс поганого доллара к нашему алтынчачу узнавал?

И самим тулуписцам веселее во все увеличивающейся коллекте время, остающееся от писчебумажных упражнений, проводить; опять же интриги повелись, что бодрят течение жизни и учат проворству, и тулуповским властям есть чем по культуртрегерской части на вселесных ассамблеях отчет держать. Выступает, к примеру, по принятому регламенту на такой ассамблее тулуповский воевода, доложил о благонравии обитателей своего леса, а по части хозяйственной зачитал таблицы о числе котёлок, пудах меда, числе поросят (с хреном и пока еще без оногo), ведрах сивухи и пр., сгношенных в Тулуповском лесу его с предводителем и исправником радением.

Ан недоброжелатель из залы ехидно: «А как с культурой-то! Имеются ли в наличии присутствия обилеченные писари?» Раньше бы воевода скуксился, а теперь горделиво и подбоченясь: «Превосходно у нас с культурой со всех сторон рассматриваемого предмета. Если до обобществления в Тулуповском лесу имелся в наличии токмо один писарь — Великий Лев, то ныне у *меня* оных, зачисленных в Леспис, целиковый двадцатник!» Ассамблея от гордости за своего сочлена в полном восторге рукоплещет. Только допущенные на это мероприятие седовласые проявившие и просиявшие, уже при жизни занесенные на Скрижали, меж собой необидно ухмыляются... мол, из пустой хоромины, либо сын, либо сова, либо *сам сатана*. Как в воду седовласые насчет Тулуписа глядели — но позже об этом опять же.

Десять лет начального существования Тулуписа — самое блистательное время для тулуповских писарей. В тогдашнюю пору все лесные жители страны от мала до велика читали книги и толстые писарские куранты, развивая в себе благонравие и упраздня всякие подлые мысли, что остались от эпохи старого, еще не обобществленного леса. У тулуповцев, истари полагающих свой лес наипервостепеннейшим, горделивое чувствование к писарским землякам все более проявлялось. А те, по регламенту обилеченных, уже не одни подвалы курантов «За родную трущобу» и «За молодую трущобу» занимали, но и целиковые писарские рубрики там завели. Каждый писарь раз в год-два тискал многогонорарную книгу в *своем* издательском учреждении. И в столичных курантах кое-кого из них приметили и привечать начали. Премияльными особо пока не баловали, но уже Олениха получили скромное, но на слуху у всех писарей лауреатство...

Бурлила писарская, сочинительская жизнь в Тулуповском лесу. Авторов по дагерротипам в местных курантах уже в лицо на лесных улицах начали узнавать. Писари же, особливо из легких на подъем стихотворцев, солидную прибавку к гонорариям извлекали из творческих поездок с выступлениями перед лесным народом по заводам, фабрикам, урочищам, департаментам и училищам Тулуповского леса. И по части грамотного сочинительства писари усердствовали: записывались в Высшее писарское училище или на курсы при оном, благо столица рядком, а прогонные всего два рябчика в един конец.

Но — писарь полагает, а имущий власть располагает. И вышел превеликий конфуз с Тулуписом.

◆ ...Однако грех да беда на кого не живет? Разблагодушествовались не токмо писари тулуповские, но в «золотые годы» верховноправительства Второго Тигра, давшего пинка под зад волюнтаристу и пробелелисту Кукурузному Вепрю, вся лесная страна, перейдя на ежедневные шти с убоиной, приобрела искреннее пламенение души и осязательное содержание своих трудов праведных и вознаграждение за оные. Городские лесовики служили по департаментам, фабрикам и заводам. Обобществленные жители деревни летом землю общим колхозным обычаем работали, а зимой валяли валенки или иному оброчному занятию предавались. Но и в городе и на селе тесно общались с культурой, читали запоем стихи поэта Рубцова («Мне поставят памятник в городе или на селе. Буду я и каменный навеселе»). И тулуповских писарей, усердно приумножавшихся, земляки читали и других лесов обитатели — слово «обыватель» в обобщественную историю страны полагалось ругательным и исключенным из употребления.

Но всякое общественное цветение и вольнолюбивое расширение своих идеалов приводит к потере бдительности — обратной стороне всеобщего благонравия и благодушествования. И гром грянул над Тулуписом. Почему Илья-пророк для образцово-показательной порки избрал почти из сотни губернских отростков Лесписа именно тулуповский? Кто знает... может звезды в таком астрологическом соподчинении

на закопченном небе заводского Тулуповска сошлись, или почившие на лаврах воевода с предводителем и исправником бдительность ослабили. Увы, История обратного хода не имеет: в ее анналах и на ее Скрижалях входят односторонне сколь-либо проявившие и просиявшие... в мирных докуках или в наиболее блестящих злодействах, поучительных срамных делах, великих кровопролитиях, но обратного хода из Истории в реальную протекающую жизнь не предусмотрено. То есть править, исправлять, дополнять или искажать Историю — дело хотя и нехитрое, но на полном резоне дурацкое.

Итак, гром прогремел над Тулуповским лесом, молния попала, аки нарочито прицеленная, прямо в Тулупис на десятом году его <увы, предыдущего> благодушествования, цветения и продвижения к пока еще дальним окрестностям Скрижалей.

...Нет, конечно, и до этого междоусобства в форме сугубо специальной писарской хвори — зависти к ближнему — имело место быть в Тулуписе. Оно и понятно: коллект писарская все увеличивалась, а у издательского заведения в Тулуповске план тисканья книги отставал за оным ростом жаждущих сочинять под гонорарии. Отсюда и подковерное первенство затеялось — источник зависти и взаимного враждования. И даже верноподданническое доносительство по части опекаемой предводителем партийности; особенность участия в Лесписе, оно же в Тулуписе — обязательность окромя писарского иметь в наличности и партийный билет. Соревновательность эта в писчебумажном занятии распространялась и на прокормочную докуку, завидование по выделенным берлогам: у одного трехкомнатная апартаментная в центре, у другого — поближе к окраине и всего лишь о двух комнатах... Поелику же тулуповские писари находились в спелом для любовных утех возрасте, да от ежедневных штей с убоинной и праздничного поросенка под хреном натура бунтовала и требовала оных, то тянуло обилеченных сволочиться с молодой красивой зайчихой или кобылицей из преданных почитательниц губернского таланта, заводились мамочки* для утоления будоражащей страсти. Опять же такой либерализм в повреждении семейных устоев — по части предводителя: по устному или писанному доносительству недругов-завистников.

Но все это дело обыденное, особенно по женской части. Предводитель посмеивался чтением доносов или даже слегка завидовал наиболее ушлым жеребцам. Полицейстеру и жандармскому шефу Тулуповска доносительства и вовсе остерегались сочинять: не за супротивника, конечно, опасались, но за мать-кормилицу, то есть за Тулупис; как бы не прикрыли! Дело тонкое и политичное.

Но вот что случилось на десятом году благодушествования тулуповских обилеченных писарей, то ни словом сказать, ни пером описать в приличествующих партикулярных выражениях, ибо по сути рассуждать — одни неудобные для литерной печати выражения получают. Таковое в писарской среде злоумышленное подрывание устоев и потрясение основ, очернение высших идеалов, беспримерное по нарочитой срамной наглости ни то что в обобществленный период истории *Нашего леса* ни до, ни после не случалось, но и сообразоваться настоящим манером со времен Гостомысла и братьев Рюриков могут разве что с предательством князя Курбского и воследовавшей его перепиской <в сугубых матерных изъяснениях> с Иваном Грозным. И все одно на предмет упомянутой уже срамной наглости злоумышление князя супротив учиненного тулуповским писарем Лошаком паскудства все одно, что утаенная полтинная монета перед украденным золотым полуимпериалом в рябчиковом исчислении...

Молодой Лошак, хотя бы и выглядел несколько несоответственно с возрастом

* Сволочиться <с кем-то> — завести любовную связь; мамочка (или мамоха) — любовница. Разговорный язык XIX века (прим. ред.).

старообразно, что в лесном обиходе ядовито зовут «оглоблей», являлся баловнем касталийских муз — не в понятии особенного какого таланту, но в умении улавливать щербатым своим носом веяния «сверху» к особенно значимым событиям и датам. Таковых умельцев лесписовцы в домашнем междусобойном кухонном кругу за поросенком под хреном и «очищенной» (женам и малым детушкам — пастила и морошка в сахаре) именовали *датскими писарями*. Потрафля либерализму в «оттепель» при Кукурузном Вепре и общему расслабляющему благодушествованию при Втором Тигре, Лошак и здесь подпускал в писчебумажных сочинениях инвективные ужимки, но — все в пределах намеков на желательное усовершенствование (борьба лучшего с еще более лучшим!) регламента и осязательного содержания идеалов цветения обобществления. Самый упертый в своем запретительном деле цензор, хоть в астрономические окуляры глаза порти, не мог выявить в писаниях Лошака ничего либеральнее замечания, что де вот герой его повествования возжелал (с похмелья что ли?) вкусить соленого арбуза, обегал все зеленные лавки в своем сибирском урочище, но диковинного приуготовления фрукта не обрел... И верноподданнически Лошак рекомендовал кому следует обеспечить *Наш лес* (опохмелительными) солеными арбузами. Цензор, научившийся латыни в университете, оконченном по римскому праву, вспоминал сообразующуюся с арбузным либерализмом формулировку: *causa impulsiva per stimulos*, то бишь побуждающая посредством стимулов причина, — и надписывал разрешающий к тисканью литеррами гриф, сходный с масонским знаком.

♦ С чего это музы, восторгающиеся всем изящным («*Хохот, свежий точно море, хохот, жаркий точно кратер, / Лился лавой из коляски, остывая в выси сфер...*»*) и красиво прекрасным, возжелали избрать своим представителем в тулуповской лесной глубинке Лошака, дагерротипная фотогеничность коего тотчас побуждала вспомнить присказку, что-де с лица не воду пить? О, эти женские загадки! Но в части данного предмета сказать, что любовь зла, полюбишь и осла, значило бы обидеть занимавшую в Тулуписе тогда должность Осла добропорядочную птицу Казарку...

Конечно, грамоте Лошак знал изрядно, то есть на гимназическое «хорошо», не зазря ученичествовал в Высшем писарском училище, откуда был выпущен по прозаическому разряду, тотчас уловлен дипломатическим писарем из Якутской мерзлявой тайги Лавроносным Журавлем, уже примерявшем на себя должность Льва во вновь соорганизуемом Тулуписе, водворен на постоянное местопребывание в Тулуповский лес с выделением самой благодатной — в сравнении с другими писарями, соорганизаторами — трехкомнатной апартаментной конюшне с приличествующими прогонными, подъемными и представительскими.

Опять же легкое либеральное резонирование и *датское* чутье, о чем говорилось выше, поспособствовали довольной регулярности тисканья книг и на страницах столичных писарских курантов. Ничем не выделялся Лошак в предмете и содержании писарского умения в соотношении с большинством лесписовцев и собственно тулуписовцев, но... вот так на молодого Лошака пасьянс разложила судьба, а гораздо правильнее — умел он нужную карту в бостонной игре передернуть без битья канделябрами и шандалами по головке тыковкой. Лошак еще в столичном своем бытѣ довольно извертелся в лесписовских кругах. Облик его и прозвище запало в седеющие головы тамошних проявивших и просиявших, оттого отказу ему не надлежало быть в толстых писарских курантах; уже в тулуповское житье-бытѣ ввели Лошака в редакторскую коллекту главных молодняковых писарских курантов, что тиражировались в столице ежемесячно в миллионах штук и прочитывались всем *Нашим лесом*.

С таким-то устремлением в ряды проявивших и просиявших Лошак и прибыл в Тулуповский лес с молодой жеребой Кобылкой... почему-то в последующие годы ему

* Игорь Северянин. Июльский полдень. Синаматограф (прим. ред.).

с неизменным постоянством сопутствовали эти обязательно жеребые кобылки, затем вскачь убежавшие от Лошака. Даже на конфузное и подлое свое дело он отправился от все такой же жеребой кобылки — очередной мамочки.

...Да еще Лавроносный Журавль подливал масла в огонь, прилюдно устно и писчебумажно расхваливая сверх всякой меры «нашу надежду и осознательное содержание растущего в мерах талантливости Тулуписа, одаренного писаря, беспрестанно сеющего рукой добродетельного пахаря на нашей лесной ниве разумное, доброе, вечное, беззаветно отдаваясь своим ощущениям благ, необходимых для дальнейшего развития и процветания обобщественности»... и далее в тех же велеречивых похвалах. Понятно дело, Лавроносный Журавль, заботясь о радикальном возрастании авторитета начальствуемого им Тулуписа, меркантильно питал надежду на исполнение искреннего пламенения своей писарской души: посредством высоких столичных покровителей Лошака и самому себе приблизиться к стройным шеренгам, побатальонным «квадратом» под звуки оркестра полковой музыки марширующим в одушевление своих идеалов в диспозиционном направлении к абрису едва еще узреваемого в раннеутреннем весеннем тумане контуре писарских Скрижалей.

...Но «травмированный ранней славой», как удачно в кулуарной беседе посередь доверенных своих высказался тулуповский писарь Альбатрос, Лошак полагал все высокопарные восхваления, к нему относящиеся, натурально самими собой разумеющимся и вовсе не имел в мыслях предстательствовать перед столичными писарскими чинами за своего благодетеля. И вовсе не полагал за что-либо из себя значащих всех тулуповских писарей, поплеывал на них фигурально. Словом, вел себя соответственно присказке: один брат сыт и крепок, другой брат жидок и редок. Вообще не имел какого-либо общения с ними, исключая случайные встречи у кассы тулуповского издательского заведения. «Я емь единственный писарь в этом лесу... и не только в ем одном,— прилюдно рассуждал Лошак в некотором употреблении «очищенной» по табельным дням в гостеваниях у видных служебных персон Тулуповска,— все же остальные, именующие себя избранниками муз, суть графоманы уровня учрежденческих стенгазетчиков!» И всем это почему-то по душе маслом ощущалось прокатившимся. Даже самим введенным Лошаком в ничтожество тулуповским писарям. Потемки душа человеческая, а писарская и того более. А все от того, что в те добронравные и снисходительные времена жилось писарям хорошо на гонорарии и сообразные приработки, но регулярность их получения паче всего определялась изворотливостью, умением подольстить тому, кто мог «порадеть своему человечку». — Даже в слабоожидаемой перспективности. Лошак же мог многозначительно, надув брылья, заметить к случаю, что-де в Лесписе он со всеми на короткой ноге; привет, мол, брат Пушкин, как жизнь? — Да как-то все так, брат Лошак. И сам главный писарский Осел за него лесписовскому Льву предстательствует... Доверчивые тулуповцы, хотя бы в своем кругу хитрецы и их на мякине не проведешь, невольно робеют: ваше лошаковское степенство, вы отцы наши, мы дети слабограмотные ваши, уж пособиите при случае — просто, не прося ни за кого, скажите: есть, мол, в Тулуповском лесу такой дедушки Мазая писарь Заяц! С нас, сырых, и этого довольно будет.

Лошак же, присвистнув и тотчас изгнав из тыквенной своей головки все писарские благоглупости, шел в пристойный для его реноме круг общения, что охватывал достойнейших чинов Тулуповска, близких к воеводе, предводителю и исправнику. Но шеф жандармов и полицмейстер также о Лошаке наслышаны с благонравных позиций соблюдения идеалов обобществления.

♦ Конюшню же свою дармовую Лошак, ничтоже сумняшся, в бодрственную действительность самоличных — уже не проповедуемых им обобщественных! — идеалов превратил. Продовольствовался он обычным делом в трактирах и в гостева-



Бомж Игнат сходил на прием к депутату городской думы, новорусскому купцу Лаврову. До Самого секретарша общественной приемной депутата Игната не допустила, но выдала по разнарядке и под роспись тридцать рублей. Пошел довольный Игнат на ближний рынок «своего» микрорайона и купил у частного предпринимателя Ворсклова, торгующего вразнос, два пирожка с квашеной капустой. Время зимнее, поэтому люди в общественных местах улицы для взаимного сугрева стараются обитать кучкой. Вот и Игнат, пережевывая обеззубленными деснами домашней выпечки пирожки, завел беседу со скучающим Ворскловым. Как дипломат в душе, а по образованию инженер-ракетчик, Игнат заговорил на тему дня: грядущие выборы в главную думу страны:

— За кого голосовать будешь, достопочтенный?

— За наших, бродяжка,— ответил частный предприниматель, в бытность давнюю учитель литературы.— А почто интересуешься? Ведь бомжей к урнам не подпускают.

— Ошибаешься, достопочтенный; сейчас и без прописки можно. Так вот и я надумал голосовать за Народную партию торсионно-инновационного освоения Марса.

нии у сурьезных персон, где завсегда подавали фаршированного гречневой кашицей поросенка, добавляя к оному первостатейного лафиту и доброй «очищенной», настоенной на ягоде клюкве <<дойдя до этого места при первом чтении авторизованной под Салтыкова-Щедрина *исторической* повести, Игорь Васильевич усмехнулся и сделал легкое вразумление аспиранту Володьке: «Прекрасно понимаю твою семейную гордость — настоенную на клюкве самогоновку, но ведь *историческая* правда важна! Самогонить-то на Св. Руси стали только в начале Империалистической, когда Николашка-царь сухой закон ввел. Поэтому прошу: при дальнейшей работе над диссертацией аутентичность *историческую* соблюдай; как говорил персонаж знаменитой кинокомедии: «А ты не путай личную шерсть с государственной!»>>

...Не брезговал и домашними штаями с парной убоиной, на рынке приторгованной, если на тот момент в конюшне обиталась очередная, непременно жеребая кобылка. Отдельное стойловое помещение отвел под самоличный кабинет, где сочинял на писарском досуге, беззаветно отдаваясь творческим устремлениям (око за око, нумер толстых курантов за нумером), руководствуясь светлыми, радужными перспективами гонорариев по высшему разряду, чутко разбрыльенными ноздрями осязаясь на полезные даты и события в упрочении и дальнейшем цветении Марковского идеала обобществления.

Но ближе к сумеркам и на всю ночь, особенно в промозглую, слякотную осень, позднедекабрьские морозы, февральские вьюги, мартовские стылые иды, в самом большом стойле лошаковской конюшни набивался — с ответными визитами — чиновный и прочий светский бомонд Тулуповска. В числе каковых все те же из круга ближних к воеводе, предводителю и исправнику. Иные и из благочиния полицмейстера и шефа жандармов запросто заходили, отстегивая в прихожих сенцах сабли от мундирных поясов и снимая шпоры.— И сразу гости, добродушно ухмыляясь, а которые в мундирах подкручивая усы, устремлялись к фуршетному угловому столику: к водке, коньячку, дамскому лафитцу, к икре паюсной, конторской и пробойной, к семужке и балычку-с.

Опосля уже за обеденным овальным столом пир на весь вечер и половинное начало ночи: с тостами, либеральными (в своем кругу) беседами, вистом и бостоном, с дамами для плясов и общего одушевленного благоустройства. Имелись в гостевом наличии и писари, но токмо (упаси бог!) не тулуповские, но наездом из столиц и университетских центров, такие же как Лошак энергетические и устремленные к проявлению и просиянию.

Много чего в тех весельях говорено было. И сам Лошак и многозначительные гости воодушевлялись радостными успехами общественного цветения Тулуповского леса, меж тем многое для себя узнавая нового в веяниях, лежащих в основании нынешнего уклада обобществления...

И лишь только впервые попавшие на раут к Лошаку изумлялись: потолок гостевого стойла... был по всей его площадности закопчен до грифельной гимназической черноты. Каждый же такой неофит — в знак вхождения в этот «круг короля Артура», олицетворявший писарскую мысль и вообще художественное одушевление Тулуповска — обязан был взобраться (до первой фуршетной стопки безопасности в части членовредительства для) по лесенке-раскладушке, что на такой случай имелась в углу стойла, и на не занятом еще пяточке вороненого потолка подмахнуть свою подпись, для чего применительно пользуясь палочкой гимназического мелка. Оный также всегда про запас наличествовал у хозяйственного в части домашнего быта Лошака.

Почти с десяток лет жуировал и благодушествовал наш Лошак, имея обильные сонмы рябчиков от беспрестанно издаваемых книг и печатания в толстых столичных курантах благонамеренных, в основном *датских*, сочинений, для остроты чувствования и спроса читателей в писчебумажных лавках слегка подперчивая их дозволенным либерализмом — навроде упомянутых уже соленых арбузов. Исподволь тулуповские писари, вне всякого сомнения, люто завидовали ему, но то была абстрактная зависть недостижимости: как бы Моська тщила уравниваться геометрическими и весовыми пространствами с облаянным ею Слоном. Лай не лай, но если ты суть мелкая квартирная тварь, то куда тебе до украшения зоологического паноптикума?

Нет, всенесомненно, за эти десять лет после обретения вождельных билетов Лесписа тулуповские писари, хотя и не всем кагалом, но в приличествующей пропорции, вплотную приблизились к той линии горизонта, с которой уже просматри-

ваются дальние предместья Скрижалей. Шло время, многие прошли курсы в Высшем писарском училище, а если от рождения голова способна «ямбы от хореев отличить», либо склонна к историческим и лирическим жизнеописаниям, то в итоге многие тулуповские «инженеры» душ лесных обитателей ничем не отличались по грамотности и осязательному содержанию своих сочинений от уже проявивших и просиявших из других лесов, но даже от таковых из столиц и университетских центров. Все-то отличие в географии и писарском компанействе. Нередко уже тулуповцев тискали литеррами и в толстых столичных курантах.

Еще раз оговоримся: нет худа без добра. Так и здесь: тулуповские писари, завидуя в бессознательности Лошаку, в оно же время вполне чистосердечно благодарности ему не то что прилюдно лъстя, но и за глаза, даже сам-один находясь в каком-либо местоположении, выказывали (!?). Удивительного в том ничего не сыщешь: их все чаще «узнавать» начали в столичных курантах, самых-пресамых рябчиковых и Скрижалю осененных. «Ба-а! Да этот проситель по части напечатания в наших курантах из Тулуповска! Это ведь где *сам* Лошак укрепляет прочные устои *наших* идеалов и подвигает оные на ниву всеобщего обобщественного просветительства, да? И вроде как Лавроносный Журавль на должности Льва ему всячески поспособляет в устоянии идеалов». После чего произнесший сию похвальную тираду Осел — секретарь курантов предстательствует перед самим Львом-редактором за тулуповского автора: «Ваше степенство! Надоть тиснуть этого Лисенка тулуповского, конечно, сократив раза в три... опять же Лошак!»

К десятому году своего бытования Тулупис уверенно шел к дозволенным регламентом обобществления идеалам добра, осязательно перенося на ниву практической полезности эмпирии устремленности и благонравия. И собственно коллекта тулуповских писарей ни шатко ни валко, но все же не допуская особливой кривизны, как городской на посту у своей полосатой будки бодрствуя, все более приближалась к позициям равнозначности с первенствующими губернскими писарскими товариществами (уже на паях которые, но не с ограничительной ответственностью...). Конечно, до столичных и университетских центров очень далековато все просматривалось, но... чем черт не шутит? Вдруг подвиг блестящий какой случится на тулуповской ниве писарской — и все единово, в однодень просияет?!

...Вот и «просияли», ибо боге не микишка, зрит на ком шишка. Видимо изначальный грех кто-то свалил на тулуповских писарей, причем свалил безадресно; это как досужий прохожий, что в мартовскую оледень аккуратно смотрит под ноги, увидит медный семишник, а то и вовсе серебряный гривенник, обрадуется, подымет, с серебрушкой и вовсе в кабак завернет, сотку или шкалик на найденную дармовщину в организм введет... а того не ведает простодушный, что монетка эта заговоренная, кто-то с себя грех снял, перенес на семишник или гривенник и подбросил: с Федота, мол, на Якова перейди!*

Да и мужик не перекрестится пока гром не грянет. Надо было креститься тулуповским писарям до грома, но только три пальца ко лбу приставишь, как тут же рядом птица Казарка, что на должности Осла в Тулуписе. Добрая она и сердечная, но ведь ответственная по своему чиновному месту за идеалы обобществления, в числе коих обращение к всевышнему не означено табелем...

(Окончание следует)



* Замечательно и со смыслом таковое свойства денег описал Л. Н. Толстой в своем «Фальшивом купоне» (прим. ред.).